СОМЕРСЕТ

МОЭМ

Бремя страстей человеческих

Сомерсет Моэм

Бремя страстей человеческих

«АСТ»
1915

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Моэм С.

Бремя страстей человеческих / С. Моэм — «АСТ», 1915

Классик литературы XX столетия, английский писатель Уильям Сомерсет Моэм – автор не сходящих по сей день с подмостков пьес, постоянно переиздающихся романов, великолепных новелл и эссе. Роман «Бремя страстей человеческих» во многом автобиографичен, это история молодого человека, вступающего в жизнь. На долю героя романа – Филипа Кэри – выпало множество испытаний. Рано осиротев, он лишился родительской заботы и ласки, его мечта стать художником так и осталась мечтой, а любовь к ограниченной порочной женщине принесла одни страдания. Но Филип мужественно прошел через все уготованные ему испытания и сумел найти в жизни свое место.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Моэм С., 1915
© АСТ, 1915

Содержание

Глава 1 6
Глава 2 8
Глава 3 10
Глава 4 13
Глава 5 16
Глава 6 18
Глава 7 21
Глава 8 23
Глава 9 26
Глава 10 29
Глава 11 32
Глава 12 35
Глава 13 37
Глава 14 39
Глава 15 42
Глава 16 46
Глава 17 50
Глава 18 54
Глава 19 57
Глава 20 60
Глава 21 63
Глава 22 69
Глава 23 72
Глава 24 75
Глава 25 77
Глава 26 79
Глава 27 84
Глава 28 88
Глава 29 92
Глава 30 94
Глава 31 98
Глава 32 100
Глава 33 105
Глава 34 111
Глава 35 114
Конец ознакомительного фрагмента. 118

Сомерсет Моэм
Бремя страстей человеческих
Роман

W. Somerset Maugham
Of Human Bondage

Печатается с разрешения The Royal Literary Fund и литературных агентств AP Watt Limited и The Van Lear Agency LLC.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© The Royal Literary Fund, 1915
© Перевод. Е. Голышева, наследники, 2011
© Перевод. Б. Изаков, наследники, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Глава 1

День занялся тусклый, серый. Тучи повисли низко, воздух был студеный – вот-вот выпадет снег. В комнату, где спал ребенок, вошла служанка и раздвинула шторы. Она по привычке окинула взглядом фасад дома напротив – оштукатуренный, с портиком – и подошла к детской кроватке.

– Вставай, Фи́лип, – сказала она.

Откинув одеяло, она взяла его на руки и снесла вниз. Он еще не совсем проснулся.

– Тебя зовет мама.

Отворив дверь в комнату на первом этаже, няня поднесла ребенка к постели, на которой лежала женщина. Это была его мать. Она протянула к мальчику руки, и он свернулся калачиком рядом с ней, не спрашивая, почему его разбудили. Женщина поцеловала его зажмуренные глаза и худенькими руками ощупала теплое тельце сквозь белую фланелевую ночную рубашку. Она прижала ребенка к себе.

– Тебе хочется спать, детка? – спросила она.

Голос у нее был такой слабый, что, казалось, он доносится откуда-то издалека. Мальчик не ответил и только сладко потянулся. Ему было хорошо в теплой, просторной постели, в нежных объятиях. Он попробовал стать еще меньше, сжался в комочек и сквозь сон ее поцеловал. Глаза его закрылись, и он крепко уснул. Доктор молча подошел к постели.

– Дайте ему побыть со мной хоть немножко, – простонала она.

Доктор не ответил и только строго на нее поглядел. Зная, что ей не позволят оставить ребенка, женщина поцеловала его еще раз, провела рукой по его телу; взяв правую ножку, она перебрала все пять пальчиков, а потом нехотя притронулась к левой ноге. Она заплакала.

– Что с вами? – спросил врач. – Вы устали.

Она покачала головой, и слезы покатились у нее по щекам. Доктор наклонился к ней.

– Дайте его мне.

Она была слишком слаба, чтобы запротестовать. Врач передал ребенка на руки няньке.

– Положите его обратно в постельку.

– Сейчас.

Спящего мальчика унесли. Мать рыдала, уже не сдерживаясь.

– Бедняжка! Что с ним теперь будет!

Сиделка пробовала ее успокоить; выбившись из сил, женщина перестала плакать. Доктор подошел к столу в другом конце комнаты, где лежал прикрытый салфеткой труп новорожденного младенца. Приподняв салфетку, врач поглядел на безжизненное тельце. И, хотя кровать была отгорожена ширмой, женщина догадалась, что он делает.

– Мальчик или девочка? – шепотом спросила она у сиделки.

– Тоже мальчик.

Женщина ничего не сказала. В комнату вернулась нянька. Она подошла к больной.

– Филип так и не проснулся, – сказала она.

Воцарилось молчание. Доктор снова пощупал у больной пульс.

– Пожалуй, пока я здесь больше не нужен, – сказал он. – Зайду после завтрака.

– Я вас провожу, – предложила сиделка.

Они молча спустились по лестнице в переднюю. Доктор остановился.

– Вы послали за деверем миссис Кэри?

– Да.

– Как вы думаете, когда он приедет?

– Не знаю, я жду телеграмму.

– А что делать с мальчиком? Не лучше ли его куда-нибудь пока отослать?

– Мисс Уоткин согласилась взять его к себе.
– А кто она такая?
– Его крестная. Как по-вашему, миссис Кэри поправится?
Доктор покачал головой.

Глава 2

Неделю спустя Филип сидел на полу гостиной мисс Уоткин в Онслоу Гарденс. Он рос единственным ребенком в семье и привык играть один. Комната была заставлена громоздкой мебелью, и на каждой оттоманке лежало по три больших пуфа. В креслах тоже лежали подушки. Филип стащил их на пол и, сдвинув легкие золоченые парадные стулья, построил затейливую пещеру, где мог прятаться от притаившихся за портьерами краснокожих. Приложив ухо к полу, он прислушивался к дальнему топоту стада бизонов, несущихся по прерии. Дверь отворилась, и он затаил дыхание, чтобы его не нашли, но сердитые руки отодвинули стул, и подушки повалились на пол.

– Ах ты, шалун! Мисс Уоткин рассердится.

– Ку-ку, Эмма! – сказал он.

Няня наклонилась, поцеловала его, а потом стала отряхивать и убирать подушки.

– Мы домой поедем? – спросил он.

– Да, я пришла за тобой.

– У тебя новое платье.

Шел 1885 год, и женщины подкладывали под юбки турнюры. Платье было сшито из черного бархата, с узкими рукавами и покатыми плечами; юбку украшали три широкие оборки. Капор тоже был черный и завязывался бархотками. Няня не знала, как ей быть. Вопрос, которого она ждала, не был задан, и ей не на что было дать заранее приготовленный ответ.

– Почему же ты не спрашиваешь, как поживает твоя мама? – не выдержала она наконец.

– Я позабыл. А как поживает мама?

Теперь уже она могла ответить:

– Твоей маме хорошо. Она очень счастлива.

– Да?

– Мама уехала. Ты ее больше не увидишь.

Филип ничего не понимал.

– Почему?

– Твоя мама на небе.

Она заплакала, и Филип, хоть и не знал, в чем дело, заплакал тоже. Эмма – высокая костистая женщина со светлыми волосами и грубоватыми чертами лица – была родом из Девоншира и, несмотря на многолетнюю службу в Лондоне, так и не отучилась от своего резкого говора. От слез она совсем растрогалась и крепко прижала мальчика к груди. Она понимала, какая беда постигла ребенка, лишенного той единственной любви, в которой не было и тени корысти. Ей казалось ужасным, что он попадет к чужим людям. Но немного погодя она взяла себя в руки.

– Тебя дожидается дядя Уильям, – сказала она. – Сходи попрощайся с мисс Уоткин, и мы поедем домой.

– Я не хочу с ней прощаться, – ответил он, почему-то стыдясь своих слез.

– Ну ладно, тогда сбегай наверх и надень шляпу.

Он принес шляпу. Эмма ждала его в прихожей. Из кабинета позади гостиной доносились голоса. Филип в нерешительности остановился. Он знал, что мисс Уоткин и ее сестра разговаривают с приятельницами, и подумал – мальчику было всего девять лет, – что, если он к ним зайдет, они его пожалеют.

– Я все-таки пойду попрощаюсь с мисс Уоткин.

– Вот молодец, сходи, – похвалила его Эмма.

– Ты сперва им скажи, что я сейчас приду.

Ему хотелось получше обставить прощание. Эмма постучала в дверь и вошла. Он услышал, как она говорит:

– Филип хочет с вами проститься.

Разговор сразу смолк, и Филип, прихрамывая, вошел в кабинет. Генриетта Уоткин была краснолицая, тучная дама с крашеными волосами. В те дни крашеные волосы были редкостью и привлекали всеобщее внимание; Филип слышал немало пересудов на этот счет у себя дома, когда крестная вдруг изменила свою окраску. Жила она вдвоем со старшей сестрой, которая безропотно смирилась со своими преклонными годами. В гостях у них были две незнакомые Филипу дамы; они с любопытством разглядывали мальчика.

– Бедное мое дитя, – произнесла мисс Уоткин и широко раскрыла Филипу объятия.

Она заплакала. Филип понял, почему она не вышла к обеду и надела черное платье. Ей было трудно говорить.

– Мне надо домой, – прервал наконец молчание мальчик.

Он высвободился из объятий мисс Уоткин, и она поцеловала его на прощание. Потом Филип подошел к ее сестре и простился с ней. Одна из незнакомых дам спросила, можно ли ей тоже его поцеловать, и он степенно разрешил. У него хоть и текли слезы, но ему очень нравилось, что он причина такого переполоха; он с удовольствием побыл бы еще, чтобы его опять приласкали, но почувствовал, что мешает, и сказал, что Эмма, наверно, его дожидается. Мальчик вышел из комнаты. Эмма спустилась в помещение для прислуги поговорить со своей знакомой, и он остался ждать ее на площадке. До него донесся голос Генриетты Уоткин:

– Его мать была моей самой близкой подругой. Никак не могу примириться с мыслью, что она умерла.

– Не надо было тебе ходить на похороны, Генриетта! – сказала сестра. – Я так и знала, что ты вконец расстроишься.

В беседу вмешалась одна из незнакомых дам:

– Бедный малыш! Остался круглым сиротой – вот ужас! Он, кажется, еще и хромой?

– Да, от рождения. Бедная мать так всегда горевала!

Пришла Эмма. Они сели на извозчика, и Эмма сказала кучеру, куда ехать.

Глава 3

Когда они подъехали к дому, где умерла миссис Кэри – он стоял на унылой, чинной улице между Ноттинг-Хилл-гейт и Хай-стрит в Кенсингтоне, – Эмма повела Филипа прямо в гостиную. Дядя писал благодарственные письма за присланные на похороны венки. Один из них, принесенный слишком поздно, лежал в картонной коробке на столе в прихожей.

– Вот и Филип, – сказала Эмма.

Мистер Кэри неторопливо привстал и обменялся с мальчиком рукопожатием. Потом подумал, нагнулся и поцеловал ребенка в лоб. Это был человек невысокого роста, склонный к полноте. Волосы он носил длинные и зачесывал набок, чтобы скрыть лысину, а лицо брил. Черты лица были правильные, и в молодости мистер Кэри, наверно, считался красивым. На часовой цепочке он носил золотой крестик.

– Ну, Филип, ты теперь будешь жить со мной, – сказал мистер Кэри. – Ты рад?

Два года назад, когда Филип перенес оспу, его послали в деревню погостить к дяде-священнику, но в памяти у него сохранились только чердак и большой сад; дядю и тетю он не запомнил.

– Да.

– Мы теперь с тетей Луизой будем тебе вместо отца и матери.

Губы у мальчика задрожали, он покраснел, но ничего не ответил.

– Твоя дорогая мама оставила тебя на мое попечение.

Мистеру Кэри нелегко было разговаривать с детьми. Когда пришла весть, что жена его брата при смерти, он тут же отправился в Лондон, но по дороге только и думал о том, какую возьмет на себя обузу, если будет вынужден заботиться о племяннике. Ему было далеко за пятьдесят, с женой они прожили тридцать лет, но детей у них не было; мысль о появлении в доме мальчишки, который мог оказаться сорванцом, его совсем не радовала. Да и жена брата никогда ему особенно не нравилась.

– Я отвезу тебя завтра же в Блэкстебл, – сказал он.

– И Эмму тоже?

Ребенок положил свою ручонку в руку няни, и Эмма ее сжала.

– Боюсь, что Эмме придется с нами расстаться, – сказал мистер Кэри.

– А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной.

Филип заплакал, и няня тоже не смогла удержаться от слез. Мистер Кэри беспомощно глядел на них обоих.

– Попрошу вас оставить нас с Филипом на минутку одних.

– Пожалуйста, сэр.

Филип цеплялся за нее, но она ласково отвела его руки. Мистер Кэри посадил мальчика на колени и обнял.

– Не плачь, – сказал он. – Ты уже большой – стыдно, чтобы за тобой ходила няня. Скоро все равно придется отправить тебя в школу.

– А я хочу, чтобы Эмма поехала со мной! – твердил ребенок.

– Это стоит много денег. А твой отец оставил очень мало. Не знаю, куда все девалось. Тебе придется считать каждое пенни.

Накануне мистер Кэри сходил к поверенному, который вел все дела их семьи. Отец Филипа был хирургом с хорошей практикой, и его работа в клинике, казалось, должна была дать ему обеспеченное положение. Но после его скоропостижной смерти от заражения крови, к всеобщему удивлению, выяснилось, что он не оставил вдове ничего, кроме страховой премии и дома на Брутен-стрит. Умер он полгода назад, и миссис Кэри, слабая здоровьем и беременная, совсем потеряв голову, сдала дом за первую предложенную ей цену.

Свою мебель она отправила на склад, а для того чтобы не терпеть во время беременности неудобств, сняла на год целый меблированный дом, платя за него, по мнению священника, бешеные деньги. Правда, она никогда не умела экономить и была неспособна сократить расходы в соответствии со своим новым положением. То немногое, что ей оставил муж, она растратила, и теперь, когда все издержки будут покрыты, на содержание мальчика до его совершеннолетия останется не больше двух тысяч фунтов. Но все это трудно было объяснить Филипу, и он продолжал горько рыдать.

– Пойди лучше к Эмме, – сказал мистер Кэри, понимая, что няне будет легче утешить ребенка.

Филип молча слез с дядиных колен, но мистер Кэри его удержал.

– Нам надо завтра ехать, в субботу я должен приготовиться к воскресной проповеди. Скажи Эмме, чтобы она сегодня же собрала твои вещи. Можешь взять все свои игрушки. И, если хочешь, выбери по какой-нибудь вещице на память об отце и матери. Все остальное будет продано.

Мальчик выскользнул из комнаты. Мистер Кэри не привык трудиться; он вернулся к своим эпистолярным занятиям с явным неудовольствием. Сбоку на столе лежала пачка счетов, которые очень его злили. Один из них казался ему особенно возмутительным. Сразу же после смерти миссис Кэри Эмма заказала в цветочном магазине целый лес белых цветов, чтобы украсить комнату усопшей. Какая пустая трата денег! Эмма слишком много себе позволяла. Даже если бы в этом не было необходимости, он все равно бы ее уволил.

А Филип подошел к ней, уткнулся головой ей в грудь и зарыдал так, словно у него разрывалось сердце. Она же, чувствуя, что любит его, почти как родного сына – Эмму наняли, когда ему не было еще и месяца, – утешала его ласковыми словами. Она обещала часто его навещать, говорила, что никогда его не забудет; рассказывала ему о тех местах, куда он едет, и о своем доме в Девоншире – отец ее взимал пошлину за проезд по дороге, ведущей в Эксетер, у них были свои свиньи и корова, а корова только что отелилась… У Филипа высохли слезы, и завтрашнее путешествие стало казаться ему заманчивым. Эмма поставила мальчика на пол – дел было еще много, – и Филип помог ей вынимать одежду и раскладывать на постели. Эмма послала его в детскую собирать игрушки; скоро он уже весело играл.

Но потом ему надоело играть одному, и он прибежал в спальню, где Эмма укладывала его вещи в большой сундук, обитый жестью. Филип вспомнил, что дядя разрешил ему взять что-нибудь на память о папе и маме. Он рассказал об этом Эмме и спросил, что́ ему лучше взять.

– Сходи в гостиную и погляди, что тебе больше нравится.

– Там дядя Уильям.

– Ну и что же? Вещи-то ведь твои.

Филип нерешительно спустился по лестнице и увидел, что дверь в гостиную отворена. Мистер Кэри куда-то вышел. Филип медленно обошел комнату. Они жили в этом доме так недолго, что в нем было мало вещей, к которым он успел привязаться. Комната казалась ему чужой, и Филипу ничего в ней не приглянулось. Он помнил, какие вещи остались от матери и что́ принадлежало хозяину дома. Наконец он выбрал небольшие часы: мать говорила, что они ей нравятся. Взяв часы, Филип снова понуро поднялся наверх. Он подошел к двери материнской спальни и прислушался. Никто не запрещал ему туда входить, но он почему-то чувствовал, что это нехорошо. Мальчику стало жутко, и сердце у него испуганно забилось; однако он все-таки повернул ручку. Он сделал это потихоньку, словно боясь, что его кто-то услышит, и медленно отворил дверь. Прежде чем войти, он собрался с духом и немножко постоял на пороге. Страх прошел, но ему по-прежнему было не по себе. Филип тихонько прикрыл за собой дверь. Шторы были опущены, и в холодном свете январского полдня комната казалась очень мрачной. На туалете лежали щетка миссис Кэри и ручное

зеркальце, а на подносике – головные шпильки. На каминной доске стояли фотографии отца Филипа и его самого. Мальчик часто бывал в этой комнате, когда мамы здесь не было, но сейчас все здесь выглядело как-то по-другому. Даже у стульев – и у тех был какой-то непривычный вид. Кровать была постелена, словно кто-то собирался лечь спать, а на подушке в конверте лежала ночная рубашка.

Филип открыл большой гардероб, битком набитый платьями, влез в него, обхватил столько платьев, сколько смог, и уткнулся в них лицом. Платья пахли духами матери. Потом Филип стал выдвигать ящики с ее вещами; белье было переложено мешочками с сухой лавандой, запах был свежий и очень приятный. Комната перестала быть нежилой, и ему показалось, что мать просто ушла погулять. Она скоро придет и поднимется к нему в детскую, чтобы выпить с ним чаю. Ему даже почудилось, что она только что его поцеловала.

Неправда, что он никогда больше ее не увидит. Неправда, потому что этого не может быть. Филип вскарабкался на постель и положил голову на подушку. Он лежал не шевелясь и почти не дыша.

Глава 4

Филип плакал, расставаясь с Эммой, но путешествие в Блэкстебл его развлекло, и, когда они подъезжали, мальчик уже успокоился и был весел. Блэкстебл находился в шестидесяти милях от Лондона. Отдав багаж носильщику, мистер Кэри и Филип отправились домой пешком; идти нужно было всего минут пять. Подойдя к воротам, Филип вдруг вспомнил их. Они были красные, с пятью перекладинами и свободно ходили на петлях в обе стороны; на них удобно кататься, хотя ему это и было запрещено. Миновав сад, они подошли к парадной двери. Через эту дверь входили гости; обитатели дома пользовались ею только по воскресеньям и в особенных случаях – когда священник ездил в Лондон или возвращался оттуда. Обычно же в дом входили через боковую дверь. Был тут и черный ход – для садовника, нищих и бродяг. Дом, довольно просторный, из желтого кирпича, с красной крышей, был построен лет двадцать пять назад в церковном стиле. Парадное крыльцо напоминало паперть, а окна в гостиной были узкие, как в готическом храме.

Миссис Кэри знала, каким поездом они приедут, и дожидалась их в гостиной, прислушиваясь к стуку калитки. Когда звякнула щеколда, она вышла на порог.

– Вон тетя Луиза, – сказал мистер Кэри. – Беги поцелуй ее.

Филип неуклюже побежал, волоча хромую ногу. Миссис Кэри была маленькая, высохшая женщина одних лет со своим мужем; лицо ее покрывала частая сеть морщин, голубые глаза выцвели. Седые волосы были завиты колечками по моде ее юности. На черном платье было одно-единственное украшение – золотая цепочка с крестиком. Держалась она застенчиво, и голос у нее был слабый.

– Ты шел пешком, Уильям? – спросила она с укором, поцеловав мужа.

– Я не подумал, что для него это далеко, – ответил тот, взглянув на племянника.

– Тебе нетрудно было идти, Филип? – спросила миссис Кэри мальчика.

– Нет. Я люблю гулять.

Разговор этот немножко его удивил. Тетя Луиза позвала его в дом, и они вошли в прихожую. Пол был выложен красными и желтыми плитками, на которых чередовались изображения греческого креста и агнца божия. Отсюда наверх вела парадная лестница из полированной сосны с каким-то особенным запахом; дому священника повезло: когда в церкви делали новые скамьи, леса хватило и на эту лестницу. Резные перила были украшены эмблемами четырех евангелистов.

– Я велела протопить печь, боялась, что вы в дороге замерзнете, – сказала миссис Кэри.

Большая черная печь в прихожей топилась только в очень дурную погоду или когда священник был простужен. Если простужена была миссис Кэри, печь не топили. Уголь стоил дорого, да и прислуга, Мэри-Энн, ворчала, когда приходилось топить все печи. Ежели им приспичило повсюду разводить огонь, пусть наймут вторую прислугу. Зимой мистер и миссис Кэри больше сидели в столовой и обходились одной печью; но и летом привычка брала свое: они все время тоже проводили в столовой; гостиной пользовался один мистер Кэри, да и то по воскресеньям, когда ложился соснуть после обеда. Зато каждую субботу ему протапливали печь в кабинете, чтобы он мог написать воскресную проповедь.

Тетя Луиза отвела Филипа наверх, в крошечную спаленку; окно ее выходило на дорогу. Прямо перед окном росло большое дерево. Филип припомнил теперь и его: ветви росли так низко, что на дерево нетрудно было вскарабкаться даже ему.

– Комнатка невелика, да ведь и ты еще маленький, – сказала миссис Кэри. – А тебе не страшно будет спать одному?

– Нет.

В прошлый раз, когда Филип жил в доме священника, он приехал сюда с няней, и у миссис Кэри не много было с ним хлопот. Теперь она поглядывала на мальчика с некоторым беспокойством.

– Ты умеешь мыть руки, не то дай я тебе их вымою…

– Я сам умею мыться, – сказал он гордо.

– Ладно, когда придешь пить чай, я проверю, хорошо ли ты вымыл руки, – заявила миссис Кэри.

Она ничего не понимала в детях. Когда было решено, что Филип приедет жить в Блэкстебл, миссис Кэри много думала о том, как ей получше обращаться с ребенком; ей хотелось добросовестно выполнить свой долг. А теперь, когда мальчик приехал, она робела перед ним ничуть не меньше, чем он перед ней. Миссис Кэри от души надеялась, что Филип не окажется шаловливым или невоспитанным мальчишкой, ведь муж ее терпеть не мог шаловливых и невоспитанных детей. Извинившись, миссис Кэри оставила Филипа одного, но минуту спустя вернулась – постучала и спросила за дверью, сумеет ли он сам налить себе в таз воды. Потом она спустилась вниз и позвонила служанке, чтобы та подавала чай.

В просторной, красивой столовой окна выходили на две стороны и были завешаны тяжелыми шторами из красного репса. Посредине стоял большой стол, у одной из стен – солидный буфет красного дерева с зеркалом, в углу – фисгармония, а по бокам камина – два кресла, обитые тисненой кожей, с наколотыми на спинки салфеточками; одно из них, с ручками, называлось «супругом», другое, без ручек, – «супругой». Миссис Кэри никогда не сидела в кресле, говоря, что предпочитает стулья, хотя на них и не так удобно: дел всегда много, а в кресло сядешь, облокотишься на ручки, и встать уже не захочется.

Когда Филип вошел, мистер Кэри разжигал огонь в камине; он показал племяннику две кочерги. Одна была большая, до блеска отполированная и совсем новая – ее звали «священником»; другая, поменьше и множество раз побывавшая в огне, звалась «помощником священника».

– Чего мы ждем? – спросил мистер Кэри.

– Я попросила Мэри-Энн сварить тебе яйцо. Ты ведь, наверно, проголодался с дороги.

Миссис Кэри считала путешествие из Лондона в Блэкстебл очень изнурительным. Она сама редко выезжала из дома, потому что жалованья было всего триста фунтов в год и, когда ее мужу хотелось отдохнуть, а денег на двоих не хватало, он ездил один. Ему очень нравилось посещать церковные конгрессы, и он каждый год умудрялся съездить в Лондон; один раз он даже побывал в Париже на выставке и два или три раза – в Швейцарии. Мэри-Энн подала яйцо, и они сели за стол. Стул для Филипа был слишком низок, и мистер Кэри с женой растерялись.

– Я подложу ему несколько книг, – предложила Мэри-Энн.

Она взяла с фисгармонии толстую Библию и требник, по которому священник читал молитвы, и положила их Филипу на стул.

– Ах, Уильям, нехорошо, чтобы он сидел на Библии! – ужаснулась миссис Кэри. – Разве нельзя взять какие-нибудь книжки из кабинета?

Мистер Кэри задумался.

– Ну, от одного раза вряд ли будет большой вред, особенно если Мэри-Энн положит требник сверху, – сказал он. – Молитвенник составлен такими же простыми смертными, как мы. Он ведь и не претендует на то, что его начертала рука Всевышнего!

– Я совсем об этом не подумала, Уильям, – сказала тетя Луиза.

Филип вскарабкался на книги, и священник, произнеся молитву, срезал верхушку яйца.

– На, – сказал он Филипу, – можешь съесть.

Филип предпочел бы съесть целое яйцо, но ему никто этого не предложил, и он удовольствовался тем, что ему дали.

– Как тут у вас неслись куры, пока меня не было? – спросил священник.

– Ужасно! Яйца два в день.

– Ну, понравилась тебе верхушка, Филип? – спросил дядя.

– Спасибо, очень.

– Получишь еще одну в воскресенье днем.

Мистеру Кэри всегда подавали к воскресному чаю яйцо, чтобы он мог подкрепиться перед вечерней службой.

Глава 5

Филип постепенно познакомился с теми, с кем ему пришлось жить, и по отрывочным разговорам, часто не предназначенным для его ушей, узнал многое и о себе, и о своих покойных родителях. Отец Филипа был гораздо моложе священника из Блэкстебла. После блестяще пройденного курса в медицинском институте при больнице св. Луки он получил там должность и сразу же стал зарабатывать много денег. Тратил он их, не считая. Когда священник вздумал отремонтировать свою церковь и послал брату подписной лист, он изумился, получив двести фунтов; мистер Кэри – человек от природы бережливый и по необходимости расчетливый – принял этот дар со смешанным чувством: он завидовал брату, который мог пожертвовать такую сумму, радовался за свою церковь и был слегка смущен щедростью, казавшейся ему почти вызывающей. Потом Генри Кэри женился на своей пациентке – красивой девушке без гроша за душой, сироте, у которой не было даже близкой родни, хотя сама она была из хорошей семьи. На свадьбу понаехали толпы нарядных гостей. Священник, посещая их дом во время своих поездок в Лондон, держался с невесткой сдержанно. Она его смущала, и в душе он не одобрял ее удивительной красоты, да и одевалась миссис Кэри куда роскошнее, чем это пристало жене труженика-хирурга. А изящная обстановка дома, обилие цветов, которыми она себя окружала даже зимой, говорили о пагубной расточительности. Священник слушал ее рассказы о приемах, на которые ее приглашали, и, вернувшись домой, говорил жене, что неприлично пользоваться гостеприимством, не оказывая его в свою очередь. На стол подавали виноград, который должен был стоить не меньше восьми шиллингов за фунт; за завтраком ему предложили раннюю спаржу – в приходском саду она должна была поспеть не раньше чем месяца через два. Но вот случилось то, что он предрекал, и священник торжествовал, совсем как тот пророк, который радовался, глядя, как огонь и сера истребляют город, не желавший, несмотря на все его увещевания, сойти со стези порока. Бедный Филип остался почти без гроша, и много ли ему теперь помогут великосветские друзья его матери? Мальчик слышал, как дядя говорил, что расточительность его отца была чуть ли не преступной и что провидение сжалилось над ребенком, прибрав его дорогую мамочку: она не знала цены деньгам, как малое дитя.

Когда Филип прожил в Блэкстебле неделю, произошел случай, возмутивший дядю до глубины души. Однажды утром, завтракая, он нашел на столе небольшой пакет, пересланный ему почтой из Лондона. Пакет был адресован покойной миссис Кэри. Священник распечатал его и нашел дюжину фотографий умершей. На них были сняты только ее голова и плечи; волосы зачесаны глаже, чем всегда, низко на лоб, что придавало ей какой-то необычный вид; лицо худое, изможденное, однако никакая болезнь не могла скрыть прелести ее черт. В больших темных глазах светилась грусть, которой Филип у нее никогда не видел. Увидев лицо покойницы, мистер Кэри даже отпрянул, но испуг тут же сменился недоумением. Фотографии были сняты явно недавно, и священник не понимал, кто их мог заказать.

– Ты что-нибудь об этом знаешь? – спросил он Филипа.

– Я помню, мама говорила, что ее снимали. Мисс Уоткин ее тогда бранила… А мама сказала: мне хочется, чтобы у мальчика что-нибудь осталось от меня на память, когда он вырастет.

Мистер Кэри поглядел на Филипа. Голосок у мальчика дрогнул. Он повторял слова матери, не понимая их смысла.

– Возьми одну фотографию и поставь у себя в комнате, – сказал мистер Кэри. – Остальные я спрячу.

Он послал одну фотографию мисс Уоткин, и та написала ему, как было дело.

Миссис Кэри лежала в постели, но чувствовала себя лучше обычного, и у доктора с утра появилась даже надежда на ее выздоровление; Эмма повела мальчика гулять, а горничные были внизу. И вдруг миссис Кэри почувствовала страшное одиночество. Ее охватил безумный страх, что она умрет от родов, которых ожидали через две недели. Сыну ее было всего девять лет. Разве он может ее запомнить? Мысль о том, что Филип вырастет и забудет ее, забудет совершенно, казалась ей невыносимой: она ведь так любила его, потому что он был слабенький, калека и потому что он был ее сын. Она ни разу не снималась со дня своей свадьбы, а с тех пор прошло уже десять лет. Ей хотелось, чтобы сын знал, как она выглядела перед смертью. Тогда он ее не забудет, не сможет ее забыть безвозвратно. Она знала: если позвать горничную и заявить, что она хочет встать, ей этого не позволят, а то и за доктором пошлют; у нее же не было сил, чтобы спорить. Тогда она поднялась с постели и стала одеваться. От долгого лежания на спине она ужасно ослабела, ноги у нее подкашивались, а подошвы кололо, словно иголками, и ей было страшно ступить на пол. Но она продолжала одеваться. Причесываться сама она не привыкла и, подняв руку с гребнем, почувствовала, что ей дурно. И все равно причесать волосы так, как это делала горничная, ей не удалось. Волосы были очень красивые, тонкие, похожие на старое золото. Брови – прямые и темные. Она надела черную юбку и лиф от любимого вечернего платья – из белого, очень модного в ту пору Дамаска. Миссис Кэри поглядела на себя в зеркало. Щеки были без кровинки, но зато кожа очень нежная. Впрочем, румяной ее и прежде нельзя было назвать, но ее розовые губы красиво выделялись на бледном лице. Теперь же, глядя в зеркало, ей стоило большого труда не разрыдаться, но жалеть себя было некогда: она и так чувствовала отчаянную усталость. Закутавшись в меха, которые Генри подарил ей на прошлое Рождество – как она ими тогда гордилась и дорожила, – она с бьющимся сердцем спустилась вниз. Выскользнув незамеченной из дому, она поехала к фотографу и заплатила ему за дюжину снимков. Посреди сеанса ей пришлось попросить стакан воды, и помощник фотографа, видя, что она больна, предложил ей приехать в другой раз, но она настояла на том, чтобы ее сфотографировали. Наконец ее отпустили, и она вернулась в убогий домик в Кенсингтоне, который ненавидела всей душой. Тяжело было умирать в таком доме.

Она издали увидела, что парадная дверь открыта, а когда подъехала к дому, со ступенек сбежали Эмма и горничная. Найдя спальню пустой, они очень перепугались. Сначала им пришло в голову, что больная ушла к мисс Уоткин, и за ней послали кухарку. Но та скоро вернулась вместе с встревоженной мисс Уоткин, которая сейчас дожидалась в гостиной. Она в тревоге вышла навстречу миссис Кэри и осыпала ее упреками; но напряжение, которое перенесла больная, оказалось ей не под силу: теперь, когда не нужно было больше себя превозмогать, миссис Кэри упала на руки Эмме, и ее отнесли наверх. Там она пролежала без сознания так долго, что всем показалось, будто она никогда не очнется, а доктор, за которым послали, все не приходил. Только на другой день, когда ей стало немножко лучше, мисс Уоткин добилась от нее объяснений. Филип играл на полу в спальне, и женщины забыли о его присутствии. Он лишь смутно понимал, о чем они разговаривают, и не смог бы объяснить, почему слова матери навсегда сохранились у него в памяти.

– Я хотела, чтобы мальчик мог вспомнить меня, когда вырастет.

– Непонятно, зачем ей вздумалось заказывать целую дюжину! – сказал мистер Кэри. – И двух фотографий вполне хватило бы.

Глава 6

В доме священника один день был похож на другой как две капли воды.

Сразу же после завтрака Мэри-Энн приносила «Таймс». Мистер Кэри вместе с двумя своими соседями выписывал одну газету на троих. В его распоряжении она была с десяти до часу; потом садовник относил ее мистеру Эллису, где она оставалась до семи, а затем отправлялась в господский дом к мисс Брукс; та получала газету поздно, но зато могла ее не возвращать. Летом, когда миссис Кэри варила варенье, она часто выпрашивала старую газету у мисс Брукс, чтобы закрыть банки. Стоило священнику приняться за газету, как жена его надевала капор и шла за покупками. Филип ее сопровождал. Блэкстебл был рыбачьим поселком. Он состоял из одной главной улицы – где помещались лавки, банк, жили доктор и два-три хозяина угольных барж – и небольшой гавани, от которой тянулись убогие переулки, где селились рыбаки и беднота, а так как все они были нонконформистами[1] и церковь не посещали, люди эти были нестоящие. Если миссис Кэри встречала кого-нибудь из священников-сектантов, она переходила на другую сторону, чтобы с ними не здороваться, а столкнувшись невзначай лицом к лицу, принималась разглядывать мостовую у себя под ногами. На главной улице помещалось целых три молитвенных дома сектантов, и это было позором, с которым священник никак не мог примириться: ему казалось, что закон должен вмешаться и воспретить строительство подобных домов. Делать покупки в Блэкстебле было не так просто, ибо сектантов в поселке насчитывалось немало, тем более что приходская церковь стояла в двух милях от городка и ходить туда было слишком далеко. А покупать можно было только у своих прихожан. Миссис Кэри понимала, что поставка продуктов в дом священника сильно влияет на религиозные убеждения торговцев. В поселке было два мясника, и оба ходили в церковь. Они не желали понимать, почему священник не покупает у них обоих одновременно, их не устраивал и распорядок, который тот предложил: полгода покупать у одного, а следующие полгода – у другого. Если мясник не продавал мяса в дом священника, он постоянно грозился, что перестанет ходить в церковь. Мистеру Кэри порой приходилось самому прибегать к угрозе: мясник совершит грех, не посещая церковь; если он будет упорствовать в своем безбожии и посещать молитвенный дом, то, как бы превосходен ни был его товар, мистеру Кэри придется навсегда отказаться от его услуг. Миссис Кэри часто заходила в банк, чтобы передать поручение управляющему Джозии Грейвсу, который был одновременно и регентом, и казначеем, и церковным старостой. Этот высокий, тощий и седой человек с землистым лицом и длинным носом казался Филипу ветхим старцем. Он вел счета прихода, устраивал угощения для хора и школьников, и, хотя в приходской церкви не было органа, все в Блэкстебле считали, что хор, которым он руководит, – лучший в графстве Кент. Когда затевалась какая-нибудь церемония – в связи ли с приездом епископа для конфирмации или благочинного для молебна по случаю урожая, – мистер Грейвс брал на себя все приготовления. И он, не колеблясь, принимал решения по всем вопросам, лишь для проформы спрашивая совета мистера Кэри, а священник, хотя и не любивший лишних хлопот, очень обижался на самоуправство церковного старосты. Можно было подумать, что он – самая влиятельная фигура в приходе! Мистер Кэри постоянно говорил жене, что, если мистер Грейвс не угомонится, он ему даст по рукам, но миссис Кэри советовала ему не сердиться на Джозию Грейвса: у него добрые намерения, и не его вина, что он дурно воспитан. Священнику было удобно проявлять истинно христианское долготерпение по отношению к старосте, но он мстил мистеру Грейвсу, обзывая его за спиной «Бисмарком».

---

[1] Секты, отступающие от доктрины господствующей церкви, в данном случае – англиканской (баптисты, пресвитерианцы, квакеры, унитарии, методисты и др.). – *Здесь и далее примечания переводчиков.*

Однажды между ними все же разыгралась ссора, и миссис Кэри до сих пор вспоминала это тяжкое время с содроганием. Кандидат консервативной партии объявил о своем намерении выступить на митинге в Блэкстебле, и Джозия Грейвс, назначив собрание в Миссионерском доме, явился к мистеру Кэри и попросил его сказать несколько слов. Выяснилось, что кандидат просил Джозию Грейвса быть председателем. Этого уж мистер Кэри не мог снести. У него был твердый взгляд на то, каким почетом должно пользоваться духовенство: смешно церковному старосте лезть на председательское место, когда тут же рядом сидит священник! Он напомнил Джозии Грейвсу, что «пастор» означает «пастырь», то есть пастух своих прихожан. Джозия Грейвс ответил, что, мол, кому, как не ему, почитать авторитет церкви, но тут дело политическое, и он должен, в свою очередь, напомнить священнику, что спаситель внушал им «воздать кесарю кесарево». На что мистер Кэри ответствовал, что и диавол умел ссылаться на святое писание в своих диавольских целях, а что он, один распоряжаясь Миссионерским домом, откажется предоставить этот дом для политического митинга, если его не попросят председательствовать. Джозия Грейвс заявил мистеру Кэри, что тот волен, конечно, поступать, как ему заблагорассудится, но он лично считает, что и молитвенный дом методистов – вполне подходящее место для митинга. Тогда мистер Кэри сказал, что ежели нога Джозии Грейвса ступит на порог этого дома, который, по его, мистера Кэри, мнению, ничем не лучше языческого капища, то ему, Джозии Грейвсу, не подобает оставаться церковным старостой христианского прихода. После чего Джозия Грейвс отказался от всех своих должностей и в тот же вечер послал в церковь за своей рясой и стихарем. Сестра его, мисс Грейвс, которая вела у него хозяйство, сразу же сняла с себя обязанности секретаря Клуба материнства, снабжавшего неимущих беременных женщин фланелью, пеленками, углем и пособием в пять шиллингов. Мистер Кэри объявил, что наконец-то он стал хозяином в собственном доме. Но скоро обнаружилось, что он вынужден решать вопросы, в которых ничего не смыслит, а Джозия Грейвс, чуть-чуть остыв, понял, что жизнь потеряла для него всякий интерес. Миссис Кэри и мисс Грейвс очень сокрушались по поводу этой ссоры; обменявшись осторожными письмами, они назначили друг другу свидание и решили уладить конфликт; переговоры одной дамы со своим мужем, а другой – с братом длились с утра до вечера, и, так как они убеждали своих мужчин сделать то, чего те в глубине души желали сами, мир был заключен. Обе стороны после трех недель таких треволнений были в нем очень заинтересованы, но приписали свою покладистость любви к Всевышнему. Митинг в Миссионерском доме состоялся, председательствовать попросили доктора, а мистер Кэри и Джозия Грейвс выступили с речами.

Когда миссис Кэри заканчивала свои дела с управляющим банком, она поднималась наверх поболтать с его сестрой, и, покуда дамы обменивались приходскими новостями – насчет помощника священника или новой шляпки миссис Уилсон (мистер Уилсон был самым богатым человеком в Блэкстебле: по слухам, у него было не меньше пятисот фунтов в год, но он женился на своей кухарке), – Филип чинно сидел в неуютной гостиной, которой пользовались только по торжественным случаям, и наблюдал за неугомонной золотой рыбкой в аквариуме. Окна здесь не открывались – разве что по утрам, на несколько минут, чтобы проветрить комнату, – и пахло чем-то затхлым; Филипу казалось, что у этого запаха есть таинственная связь с банковским делом.

Потом миссис Кэри вспоминала, что ей еще надо зайти в бакалейную лавку, и они продолжали свой поход. Часто, покончив с покупками, они спускались по переулку, где дома были маленькие и почти все деревянные и где жили одни рыбаки (на пороге сидел рыбак и чинил свои сети; сети для просушки висели и на дверях), к маленькой бухте, окруженной складами. Оттуда было видно море. Миссис Кэри постоит, бывало, и посмотрит на море, а вода в нем мутная, желтая (кто знает, о чем в это время думала жена священника?); Филип усердно собирал плоские камушки и швырял их в воду. Потом они, не торопясь, возвраща-

лись. Заглядывали на почту, чтобы проверить время, раскланивались с женой доктора, миссис Уигрэм, сидевшей с шитьем у окна, и наконец добирались до дому.

Обед был в час дня; по понедельникам, вторникам и средам подавали говядину – жареную, рубленую или тушеную, а по четвергам, пятницам и субботам – баранину. В воскресенье резали одну из своих кур. После обеда Филип готовил уроки. Латыни и математике его обучал дядя, не знавший ни того, ни другого; французскому и музыке – тетя. Во французском она была полной невеждой, но на пианино аккомпанировала себе, распевая старомодные романсы, – она пела их вот уже тридцать лет. Дядя Уильям рассказывал Филипу, что, когда он был помощником священника, его жена знала наизусть двенадцать романсов и могла, если попросят, тут же спеть любой из них. Она и теперь пела, когда в доме бывали званые гости. Кэри мало кого приглашали к себе, и поэтому у них бывали всегда одни и те же лица: помощник священника, Джозия Грейвс с сестрой и доктор Уигрэм с женой. После чая мисс Грейвс играла одну или две «Песни без слов» Мендельсона, а миссис Кэри пела «Когда ласточки летят домой» или «Топ, топ, топ, моя лошадка».

Но Кэри редко звали в дом чужих людей; приготовления выбивали их из колеи, и после ухода гостей они чувствовали себя совершенно измученными. Супруги предпочитали выпить чаю в семейном кругу, а потом поиграть в трик-трак. Миссис Кэри заботилась о том, чтобы муж всегда был в выигрыше: проигрывать он не любил. В восемь часов подавали холодный ужин. Ели, что Бог послал, потому что Мэри-Энн не любила готовить вечером; миссис Кэри помогала ей убирать со стола. Сама она редко ела что-нибудь, кроме хлеба с маслом, запивая его компотом, но мистеру Кэри всегда подавали ломтик холодного мяса. Сразу же после ужина миссис Кэри созывала всех на вечернюю молитву, и Филип отправлялся спать. Он восстал против того, чтобы его раздевала Мэри-Энн, и со временем отвоевал себе право одеваться и раздеваться без посторонней помощи. В девять часов вечера Мэри-Энн вносила яйца и серебро. Миссис Кэри помечала на каждом яйце число и заносила количество яиц в книгу. Взяв на руку корзинку со столовым серебром, она отправлялась наверх. Мистер Кэри продолжал еще читать одну из своих старых книг, но часы били десять, он вставал, гасил лампы и тоже шел спать.

Когда приехал Филип, долго не могли решить, в какой из вечеров лучше его купать. Горячей воды всегда не хватало, потому что кухонный котел был в неисправности и двоим принять ванну в один и тот же день не удавалось. Единственным обладателем ванной комнаты в Блэкстебле был мистер Уилсон, и, по мнению его земляков, обзавелся он ею для того, чтобы пустить людям пыль в глаза. Мэри-Энн купалась в кухне по понедельникам – она любила начинать новую неделю чистой. Дядя Уильям не мог принимать ванну по субботам: впереди у него был тяжелый день, а купание его немножко утомляло, поэтому он мылся в пятницу. По этой же причине миссис Кэри выбрала себе четверг. Казалось, сам Бог велел, чтобы Филипа купали по субботам, но Мэри-Энн заявила, что не может так поздно топить в канун праздника: и стряпни много в воскресенье, и тесто надо поставить, и мало ли других дел! Нет, не будет она еще и ребенка мыть по субботам! А купаться сам он, конечно, не мог. Миссис Кэри стеснялась купать мальчика, а священник был занят воскресной проповедью. Однако дядя настаивал, чтобы к Божьему празднику Филип был чист хотя бы телом; Мэри-Энн заявляла, что пусть ее лучше уволят, но она не допустит подобного измывательства: проработав восемнадцать лет, она могла бы надеяться, что на нее не станут наваливать лишнюю работу и будут хоть немножко с ней считаться; Филип же говорил, что желает мыться сам, без посторонней помощи. Это и решило вопрос. Мэри-Энн сказала, что он ни за что не сумеет помыться как следует, и чем ребенку ходить грязному – не потому, что его осудит Господь, а потому, что она терпеть не может немытых детей, – так и быть, пусть уж лучше у нее руки от работы отсохнут, но она вымоет мальчика в субботу!

Глава 7

Воскресенье было днем, полным событий. Мистер Кэри говаривал, что он – единственный человек в приходе, который трудится все семь дней недели без отдыха.

В доме поднимались на полчаса раньше обычного. Бедный священнослужитель, он и в праздник не может позволить себе поваляться в постели, замечал мистер Кэри, когда Мэри-Энн стучала в дверь спальни ровно в восемь часов. В этот день одевание занимало у миссис Кэри больше времени, и она спускалась к завтраку в девять, слегка запыхавшись и только чуть-чуть опередив своего мужа. Башмаки мистера Кэри грелись возле камина. Молитвы читались более длинные, и завтрак был сытнее, чем в другие дни. После завтрака священник нарезал хлеб ломтиками для причастия, и Филипу разрешали брать себе корочку. Его посылали в кабинет за мраморным пресс-папье, которым мистер Кэри давил хлеб, пока ломтики не становились тонкими, как бумага, после чего их нарезали квадратиками. Число кусочков зависело от погоды. В очень дурную погоду народу в церкви бывало мало; в очень хорошую – людей приходило много, но к причастию не оставалось почти никого. Больше всего молились в такую погоду, когда было достаточно сухо для того, чтобы пойти в церковь, но не настолько солнечно, чтобы спешить из церкви домой.

Миссис Кэри вынимала из сейфа, стоявшего в буфетной, дароносицу, и священник протирал ее замшей. В десять часов подъезжала карета, и мистер Кэри надевал башмаки. Миссис Кэри задерживала мужа на несколько минут, чтобы надеть капор, а священник, уже облаченный в просторный плащ, терпеливо дожидался ее в прихожей с таким видом, будто он – христианский мученик, которого вот-вот бросят на съедение львам. Трудно поверить, что после тридцати лет замужества его жена так и не научилась поспевать вовремя к воскресной службе! Наконец она выходила, наряженная в черный атлас: священник и вообще-то не терпел цветных нарядов на женах духовных лиц, а уж в воскресенье и подавно требовал, чтобы жена была в черном; время от времени, сговорившись с мисс Грейвс, она пыталась, словно ненароком, приколоть белое перышко или розовый бутон к шляпке, но священник тут же это пресекал: он не появится в церкви в обществе блудницы. И миссис Кэри, будучи женщиной, вздыхала, но повиновалась супружескому долгу. Они уже влезали в карету, но тут священник вспоминал, что ему не дали яйца. Ведь они знают, что ему полагается съесть яйцо, чтобы лучше звучал голос. Две женщины в доме, а позаботиться о нем некому! Миссис Кэри бранила Мэри-Энн, а та огрызалась, что всего не упомнишь, но убегала в дом и приносила яйцо; миссис Кэри взбивала его в стакане хереса. Священник залпом проглатывал его; дароносицу ставили в карету, и они пускались в путь.

Карету заказывали в трактире «Красный лев», и в экипаже всегда пахло гнилой соломой. Ехали с закрытыми окнами, чтобы священник не простудился. Пономарь ждал их у входа, чтобы взять дароносицу, и, когда священник удалялся в ризницу, миссис Кэри с Филипом занимали свои места на скамьях. Миссис Кэри клала перед собой монетку в шесть пенсов, чтобы пожертвовать на церковь, и давала три пенса Филипу для той же цели. Церковь постепенно наполнялась верующими, и служба начиналась.

Филип очень скучал во время проповеди, но, если он вертелся, миссис Кэри тихонько клала ему руку на плечо и смотрела на него с укором. Он оживлялся, когда запевали последний псалом и мистер Грейвс с блюдом для пожертвований обходил прихожан.

Когда церковь начинала пустеть, миссис Кэри подходила к скамье мисс Грейвс, чтобы поболтать с ней, пока не освободятся их мужчины, а Филип отправлялся в ризницу. Дядя, его помощник и мистер Грейвс еще не успевали снять облачение. Мистер Кэри отдавал Филипу остаток освященного хлеба и разрешал его съесть. Раньше он съедал хлеб сам – ему казалось богохульством его выбрасывать, но здоровый аппетит племянника избавил дядю от этой обя-

занности. Потом подсчитывали пожертвования. Они состояли из пенсов, шестипенсовиков и монеток в три пенса. На блюде всегда лежали две монеты по шиллингу – одну клал священник, другую мистер Грейвс, – а иногда и чей-нибудь флорин. Мистер Грейвс неизменно докладывал священнику, кто его положил. Это всегда был какой-нибудь приезжий, и мистер Кэри недоумевал, кем же он мог быть. Мисс Грейвс, живая свидетельница этого безрассудства, рассказывала миссис Кэри, что незнакомец приехал из Лондона и был отцом семейства. По дороге домой миссис Кэри пересказывала эти подробности мужу, и священник решал навестить приезжего и попросить его пожертвовать в фонд «Общества лиц духовного звания». Мистер Кэри спрашивал, хорошо ли вел себя Филип, а миссис Кэри сообщала, что на миссис Уигрэм было новое пальто, мистер Кокс не пришел в церковь и люди поговаривают, будто мисс Филлипс помолвлена. Когда коляска подъезжала к дому, у всех было чувство, что они честно заслужили свой сытный обед.

После обеда миссис Кэри уходила отдохнуть к себе, а мистер Кэри укладывался подремать на кушетке в гостиной.

Чай пили в пять, и священник съедал яйцо, чтобы подкрепиться перед вечерней. Миссис Кэри не ездила вечером в церковь, чтобы Мэри-Энн могла послушать службу, но дома читала все положенные молитвы и псалмы. По вечерам мистер Кэри ходил в церковь пешком, и Филип ковылял с ним рядом. Прогулка в темноте по проселочной дороге как-то странно его впечатляла, а дальние огни церкви, которые все приближались, были милы его сердцу. Сначала он стеснялся дяди, но постепенно к нему привык и, держа его за руку, шагал куда спокойнее, чувствуя себя под его защитой.

Вернувшись домой, они ужинали. На табуреточке возле камина грелись комнатные туфли мистера Кэри, а рядом с ними – туфли Филипа: одна из них такая, как у всех детей, а другая – странной формы, ни на что не похожая. Мальчик едва добирался до кровати от усталости и тут уж не протестовал, если Мэри-Энн его раздевала. Подоткнув одеяло, она целовала его; Филип все больше и больше к ней привязывался.

Глава 8

Филип рос единственным ребенком в семье и привык к одиночеству, поэтому тут, в доме священника, он страдал от него не больше, чем при жизни матери. Он подружился с Мэри-Энн. Это была пухлая низенькая особа лет тридцати пяти, дочь рыбака; она поступила в услужение к священнику восемнадцати лет от роду и не собиралась бросать это место, но вечно держала своих робких хозяина и хозяйку в страхе, грозя им, что выйдет замуж. Родители Мэри-Энн жили в маленьком домике возле гавани, и она ходила к ним в гости по вечерам в свои выходные дни. Ее рассказы о море будили воображение Филипа, и узенькие переулки вокруг гавани дышали романтикой, которой наделяла их его юная фантазия. Както раз вечером он попросил разрешения сходить с Мэри-Энн к ней домой, но тетя побоялась, как бы он там чем-нибудь не заразился, а дядя заявил, что дурное общество портит хорошие манеры. Он не любил рыбаков, которые были неотесанны, грубоваты и ходили в молитвенный дом, а не в церковь. Но Филип чувствовал себя куда привольнее в кухне, чем в столовой, и, если мог, убегал туда со своими игрушками. Тетю это не огорчало. Она не терпела беспорядка и, хотя знала, что мальчишкам полагается быть неряхами, предпочитала, чтобы Филип устраивал кавардак в кухне. Если он не мог усидеть на месте, дядя нервничал и говорил, что пора отдать мальчика в школу. Миссис Кэри считала, что Филип еще маленький, и сердце ее переполнялось нежностью к бедному сиротке; однако все ее попытки привязать его к себе были так неуклюжи, а застенчивый мальчик встречал ее ласки так угрюмо, что она обижалась до слез. Иногда из кухни до нее доносился его веселый визг, но стоило ей туда войти, как он сразу же замолкал и только багрово краснел, если Мэри-Энн начинала объяснять тетке причину их веселья. Миссис Кэри не находила в том, что ей рассказывали, ничего смешного и только натянуто улыбалась.

– Ему куда интереснее с Мэри-Энн, чем с нами, – пожаловалась она мужу, вернувшись к своему шитью.

– Сразу видно, как он плохо воспитан. Пора его привести в надлежащий вид.

В следующее воскресенье после приезда Филипа произошел неприятный случай. Мистер Кэри, как всегда после обеда, прилег подремать в гостиной, но был взбудоражен и не мог уснуть. Утром Джозия Грейвс весьма резко высказался против подсвечников, которыми священник украсил алтарь. Он купил эти подсвечники по случаю в Теркенбэри и считал, что у них очень хороший вид. Но Джозия Грейвс заявил, что в подсвечниках есть что-то папистское. Подобные намеки всегда больно задевали мистера Кэри. Он учился в Оксфорде, когда там ширилось движение, которое привело Эдуарда Мэннинга к отступничеству от англиканской церкви[2], и чувствовал некоторую склонность к римско-католической вере. Мистер Кэри с радостью придал бы церковной службе большую пышность, чем это было принято в приходе Блэкстебла, и в тайниках души томился по крестному ходу и зажженным свечам. Правда, ладан даже он считал излишеством, но ненавидел самое слово «протестант» и называл себя католиком. Он любил говорить, что папизм не зря зовется «римской католической» религией; что же касается англиканской церкви, то и она католическая, но в наиболее глубоком и благородном смысле этого слова. Его тешила мысль, что бритое лицо делает его похожим на патера, а в молодые годы во внешности его было даже нечто аскетическое, что еще больше усугубляло это сходство. Он частенько рассказывал, как во время одной из своих поездок в Булонь, куда из соображений экономии ездил отдыхать один, без жены,

[2] В 1833 году в Оксфорде возникло религиозное движение, ставившее целью сближение протестантской церкви с римско-католической; Генри-Эдуард Мэннинг (1808–1892) – английский церковный деятель, кардинал римско-католической церкви.

он зашел как-то в церковь и заметивший его там кюре попросил мистера Кэри произнести проповедь. Придерживаясь строгих взглядов насчет безбрачия духовных лиц, не имеющих собственного прихода, он увольнял своих помощников, если те вступали в брак. Но, когда во время выборов либералы написали у него на ограде большими синими буквами: «Отсюда прямая дорога в Рим!» – он очень рассердился и грозил подать на местных заправил в суд. Лежа на оттоманке, он твердо решил, что никакие разговоры Джозии Грейвса не заставят его убрать подсвечники с алтаря, и с раздражением бормотал себе под нос: «Бисмарк! Бисмарк!»

Вдруг раздался шум. Сняв носовой платок, которым было прикрыто его лицо, священник встал и вышел в столовую. Филип сидел на столе, окруженный своими кубиками. Он построил из них громадный дворец, но какая-то ошибка в конструкции привела к тому, что его сооружение с грохотом рухнуло.

– Что ты тут вытворяешь со своими кубиками? Разве ты не знаешь, что нельзя играть по воскресеньям?

Филип с испугом воззрился на дядю и по привычке густо покраснел.

– Дома я всегда играл, – возразил он.

– Не верю, чтобы твоя дорогая мама позволяла тебе совершать такой грех.

Филип не знал, что это грех, но, если так, ему не хотелось, чтобы его маму подозревали в потворстве греху. Понурив голову, он молчал.

– Разве ты не знаешь, что большой грех – играть по воскресеньям? Отчего, по-твоему, этот день называют днем отдохновения? Вечером ты пойдешь в церковь, как же ты предстанешь перед своим Создателем, если в этот день нарушил одну из его заповедей?

Мистер Кэри приказал Филипу немедленно убрать кубики и не ушел, пока мальчик не сделал этого.

– Ты гадкий мальчик, – повторял он. – Подумай, как ты огорчаешь свою бедную мамочку, которую ангелы взяли на небо!

Филипу очень хотелось заплакать, но он с детства не выносил, когда кто-нибудь видел его слезы; сжав зубы, он сдерживал рыдания. Мистер Кэри уселся в кресло и стал перелистывать книгу. Филип прижался к окну. Дом священника стоял в глубине сада, отделявшего его от дороги на Теркенбэри; из окна столовой была видна полукруглая полоска газона, а за ней до самого горизонта – зеленые поля. Там паслись овцы. Небо было серенькое и сиротливое. Филип почувствовал себя глубоко несчастным.

Скоро пришла Мэри-Энн, чтобы накрыть на стол к чаю, и сверху спустилась тетя Луиза.

– Ты хорошо вздремнул, Уильям? – спросила она.

– Нет. Филип поднял такой шум, что я не мог сомкнуть глаз.

Священник допустил неточность: спать ему мешали собственные мысли; угрюмо прислушиваясь к разговору, Филип подумал, что шум был слышен только секунду; непонятно, почему дядя не спал до или после того, как рухнула башня. Миссис Кэри спросила, что произошло, и священник, изложив ей все обстоятельства дела, пожаловался:

– Он даже не счел нужным извиниться.

– Ах, Филип, я уверена, что ты жалеешь о своей шалости, – сказала миссис Кэри, боясь, что мальчик покажется дяде большим сорванцом, чем он был на самом деле.

Филип промолчал. Он продолжал жевать хлеб с маслом, сам не понимая, какая сила мешает ему попросить прощения. Уши у него горели, к горлу подступал комок, но он не мог выдавить ни слова.

– Напрасно ты дуешься, от этого твой проступок становится только хуже, – сказала миссис Кэри.

Чай допили в гробовом молчании. Миссис Кэри то и дело поглядывала исподтишка на Филипа, но священник намеренно его не замечал. Увидев, что дядя пошел наверх собираться в церковь, Филип тоже взял в прихожей пальто и шляпу, но священник, сойдя вниз, сказал:

– Сегодня ты в церковь не пойдешь. В таком душевном состоянии не входят в дом Божий.

Филип не произнес ни слова. Он чувствовал, что его глубоко унизили, и щеки его побагровели. Он молча смотрел, как дядя надевает просторный плащ и широкополую шляпу. Миссис Кэри, как всегда, проводила мужа до двери, а потом сказала Филипу:

– Не огорчайся. В будущее воскресенье ты не станешь больше проказничать, правда? И дядя возьмет тебя вечером в церковь.

Сняв с него пальто и шляпу, она отвела его в столовую.

– Давай почитаем вместе молитвы и споем псалмы под фисгармонию. Хочешь?

Филип решительно помотал головой. Миссис Кэри была обескуражена. Как же ей с ним быть, если он не хочет читать молитвы?

– Что же нам тогда делать, пока не вернется дядя? – беспомощно спросила она.

Филип наконец-то прервал молчание:

– Оставь меня в покое!

– Филип, как тебе не стыдно так говорить? Ты же знаешь, что мы с дядей хотим тебе только добра! Неужели ты меня совсем не любишь?

– Я тебя ненавижу. Хоть бы ты умерла!

Миссис Кэри задохнулась. Мальчик произнес эти слова с такой яростью, что ей стало просто страшно. Она не нашлась что сказать. Присев на кресло мужа и думая о том, как хотелось ей приголубить этого одинокого, хроменького ребенка, как недоставало любви ей самой – она ведь была бесплодной, и, хотя, видно, на то воля Божья, ей иногда просто невмоготу смотреть на чужих детей, – миссис Кэри почувствовала, как к глазам у нее подступили слезы и стали медленно скатываться по щекам. Филип смотрел на нее с недоумением. Она вынула платок и стала всхлипывать, уже не сдерживаясь. Вдруг Филип понял, что она плачет из-за того, чтó он ей сказал; ему стало ее жалко. Он молча подошел и поцеловал ее. Это был первый непрошеный поцелуй, который она от него получила. И бедная женщина – такая сухонькая в своем черном атласном платье, такая сморщенная и желтая, с нелепыми завитушками – посадила мальчика на колени, обхватила его руками и заплакала уже навзрыд, так, словно у нее вот-вот разорвется сердце. Но в слезах ее была и отрада: она чувствовала, что между ними больше не было отчуждения. Она любила его теперь совсем по-другому – ведь он заставил ее страдать.

Глава 9

В следующее воскресенье, когда священник готовился прилечь в гостиной подремать (все, что он делал, подчинялось строгому ритуалу), а миссис Кэри поднималась к себе наверх, Филип спросил:

– А что же мне делать, если нельзя играть?

– Неужели ты не можешь хоть час посидеть спокойно?

– Ну да, сидеть спокойно до самого чая!

Мистер Кэри выглянул в окно, но на дворе было холодно и сыро; он не мог предложить Филипу пойти погулять.

– Ага, знаю, что тебе делать. Выучи-ка наизусть сегодняшнюю молитву.

Он снял с фисгармонии требник и, полистав, нашел нужное место.

– Молитва короткая. Если сможешь прочесть ее за чаем без запинки, получишь верхушку моего яйца.

Миссис Кэри пододвинула стул Филипа к обеденному столу – ему купили высокий стул – и положила перед ним книгу.

– Диавол ленивым рукам всегда работу отыщет, – назидательно произнес мистер Кэри.

Он добавил углей в камин, чтобы огонь пожарче пылал, когда он выйдет к чаю, и ушел в гостиную. Расстегнув воротник, он поудобнее положил подушки и вытянулся на кушетке. Решив, что в гостиной прохладно, миссис Кэри принесла плед, прикрыла ему ноги и хорошенько подоткнула края вокруг ступней. Она приспустила занавески, чтобы свет не резал ему глаза, и, так как он уже успел их закрыть, вышла из комнаты на цыпочках. Сегодня на душе у священника было покойно, и ровно через десять минут он уже тихонько похрапывал.

Это было шестое воскресенье после праздника богоявления, и молитва начиналась словами: «Благословен Бог и отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой милости своей поправшего козни диавола и посулившего учинить нас сынами Божьими, достойными царствия небесного».

Филип прочел молитву. Смысла ее он понять не мог и стал твердить слова вслух; однако многие из них были ему незнакомы и построение фразы непривычно. Больше двух строк кряду запомнить ему не удавалось. А внимание его все время рассеивалось: к стенам дома были подвязаны фруктовые деревья, и длинная ветка то и дело била по оконному стеклу; в поле за садом степенно паслись овцы. Филипу казалось, что голова его пухнет. Его одолевал страх, что до чая он не выучит молитвы; он стал быстро-быстро бормотать слова себе под нос, даже не пытаясь их понять, а заучивая, как попугай.

Миссис Кэри в этот день не спалось, и в четыре часа она спустилась вниз. Ей хотелось проверить, учит ли Филип молитву, чтобы он мог прочесть ее дяде без ошибок. Уильям будет доволен: он поймет, что у Филипа – доброе сердце. Но, когда миссис Кэри подошла к двери столовой, она услышала звуки, которые заставили ее замереть на месте. Сердце у нее сжалось. Она отошла и тихонько выскользнула в сад. Обойдя дом, она подкралась к окну столовой и тихонько в него заглянула. Филип по-прежнему сидел на стуле, который она ему подвинула, но голову он уронил на стол, закрыл лицо руками и отчаянно всхлипывал. Она видела, как дергаются у него плечи. Миссис Кэри испугалась. Ее всегда поражала выдержка этого ребенка. Она ни разу не видела его плачущим. А теперь она поняла, что спокойствие его было только внешним, ему было просто стыдно показывать свои чувства – он плакал тайком от всех.

Забыв, что муж не любит, когда его будят, она ворвалась в гостиную.

– Уильям! Уильям! – закричала она. – Ребенок плачет!

Мистер Кэри поднялся и скинул с ног плед.

– Почему? О чем он плачет?

– Не знаю… Ах, Уильям, ужасно, что мальчик так горюет! А что, если это наша вина? Будь у нас свои дети, мы бы, наверно, знали, как с ним обращаться.

Мистер Кэри растерянно на нее глядел. Он чувствовал себя совершенно беспомощным.

– Не может ведь он плакать оттого, что я велел ему выучить молитву! Там всего каких-нибудь десять строк…

– Как ты думаешь, можно мне отнести ему какую-нибудь книжку с картинками? У нас ведь есть книжки о святой земле. В этом же нет ничего дурного!

– Пожалуйста, я не возражаю.

Миссис Кэри пошла в кабинет. Книги были единственной страстью мистера Кэри – он ни разу не съездил в Теркенбэри без того, чтобы часок-другой не провести у букиниста, и всегда привозил домой четыре или пять пожелтевших томов. Читать он их не читал – охота к этому занятию была давно потеряна, но с удовольствием листал страницы, рассматривал картинки, если книга была иллюстрирована, и приводил в порядок переплет. Больше всего он любил дождливые дни: можно было со спокойным сердцем никуда не выходить и, вооружившись банкой клея и сырым белком, подклеивать телячью кожу какого-нибудь видавшего виды фолианта. У священника было множество старых книг, украшенных гравюрами, с описаниями путешествий; миссис Кэри быстро отыскала среди них те, где рассказывалось про Палестину. Она нарочно покашляла за дверью, чтобы Филип успел вытереть слезы, понимая, что ему будет стыдно, если его застигнут плачущим, и с шумом подергала дверную ручку. Когда она вошла, Филип сидел, уставившись в молитвенник и заслонив глаза руками, чтобы скрыть следы слез.

– Ну как, выучил молитву? – спросила она.

Он ответил не сразу, и она поняла, что мальчик боится, как бы голос у него не дрогнул. Миссис Кэри почему-то страшно смутилась.

– Я не могу выучить ее наизусть, – произнес он наконец не очень твердо.

– Ну и Бог с ней, – весело сказала она. – И не надо. Вот, я тебе принесла книжек с картинками. Поди сюда, сядь ко мне на колени, давай посмотрим вместе.

Филип соскользнул со стула и, хромая, подошел к ней. Глаза у него были опущены, чтобы она не видела, какие они красные. Миссис Кэри его обняла.

– Погляди, – сказала она. – Вот здесь родился наш Спаситель.

Она показала ему восточный город с плоскими крышами, куполами и минаретами. Впереди росло несколько пальм, а в тени их отдыхали два араба с верблюдами. Филип провел рукой по картинке, словно хотел пощупать стены домов и широкие одежды кочевников.

– Прочти, что тут написано, – попросил он.

Миссис Кэри своим тусклым голосом прочла ему текст на противоположной странице – романтические впечатления какого-то путешественника по Востоку в тридцатые годы девятнадцатого века. Манера рассказа, может, и была слегка напыщенной, но он был проникнут тем искренним восхищением, которое Восток вызывал у поколения, жившего после Байрона и Шатобриана. Минуты через две Филип прервал ее:

– Я хочу посмотреть другую картинку.

Когда вошла Мэри-Энн и миссис Кэри поднялась, чтобы помочь ей расстелить скатерть, Филип взял книгу и поспешно просмотрел все картинки. Тетя Луиза с трудом уговорила его отложить книгу, пока они пили чай. Он позабыл о своих отчаянных усилиях выучить молитву, позабыл свои слезы. На другой день шел дождь, и он снова попросил дать ему книжку. Миссис Кэри принесла ее с радостью. Обсуждая с мужем будущее мальчика, они оба мечтали, что племянник примет духовный сан, и его интерес к книге, где описывались места, освященные именем Христовым, казался ей добрым предзнаменованием. У ребенка, видно, была врожденная тяга к религии. Через день-другой он попросил дать ему еще книг.

Мистер Кэри отвел его в свой кабинет, показал полку, на которой стояли иллюстрированные издания, и выбрал ему книжку о Риме. Филип схватил ее с жадностью. Картинки стали для него новым развлечением. Он прочитывал страницу перед каждой гравюрой и страницу после нее, чтобы узнать о том, что изображено, и вскоре потерял всякий интерес к своим игрушкам.

Он стал сам доставать с полок книги, когда никого не было поблизости, и, может, потому, что первое и наиболее сильное впечатление на него произвел восточный город, больше всего нравились ему книги с описаниями Леванта. Сердце его взволнованно билось, когда он глядел на мечети и затейливые дворцы, но среди всех картинок была одна в книжке о Константинополе, которая особенно волновала его воображение. Она называлась «Зал тысячи колонн» – это был византийский водоем, который народная молва наделила фантастическими размерами; в легенде, которую он прочел, рассказывалось, что, соблазняя неосторожных, у ворот водоема всегда причалена лодка, но ни один путешественник, отважившийся уйти на ней в темноту, не вернулся назад. И Филип представлял себе, как лодка плывет и плывет между колоннами то по одному протоку, то по другому, и вот она наконец причаливает к какому-то таинственному дворцу…

Однажды ему повезло: он напал на «Тысячу и одну ночь» в переводе Лейна. Сначала его заинтересовали иллюстрации, а потом он начал читать, и его увлекли сказки, сперва только волшебные, а потом и другие; сказки, которые ему нравились, он перечитывал снова и снова. Теперь он больше ни о чем не мог думать. Он забыл об окружающем мире. Его не могли дозваться обедать. Сам того не понимая, он приобрел прекраснейшую привычку на свете – привычку читать; он и не подозревал, что нашел самое надежное убежище от всяческих зол; не знал он, правда, и того, что создает для себя вымышленный мир, рядом с которым подлинный мир может принести ему только жестокие разочарования. Вскоре он стал читать и другие книги. Ум у него был любознательный. Увидев, что мальчик нашел себе занятие, больше не пристает к взрослым и не шумит, дядя и тетя перестали обращать на него внимание. У мистера Кэри было столько книг, что он не мог все их упомнить, а так как читал он мало, то не знал и того, какие именно книги он привез в той или иной пачке, купленной по дешевке у букиниста. Вперемежку с проповедями, нравоучениями, путешествиями, житиями святых, историей религии и писаниями отцов церкви стояли старомодные романы – их-то и открыл для себя Филип. Он отыскивал их по заголовкам, и первое, на что он напал, были «Ланкаширские ведьмы», потом «Незаменимый Кричтон» и множество других. Стоило ему, раскрыв книгу, прочесть, как два одиноких путника едут по краю бездны, – и он уже предвкушал, сколько радостей ждет его впереди.

Настало лето, и садовник, бывший матрос, смастерил для него гамак и привязал к ветвям плакучей ивы. Филип лежал в нем часами, укрытый от всех, кто мог ненароком зайти к священнику, и читал, читал самозабвенно. Шло время, наступил июль, а за ним и август; по воскресеньям церковь была полна приезжих, и пожертвования часто доходили до двух фунтов. В дачный сезон ни священник, ни миссис Кэри не выходили из сада надолго: они не любили посторонних и смотрели на заезжих лондонцев с неприязнью. Дом напротив снял на полтора месяца какой-то господин, у которого было два мальчика; он послал спросить, не захочет ли Филип прийти поиграть с его сыновьями, но миссис Кэри ответила вежливым отказом. Она боялась, что столичные мальчики испортят Филипа. Он ведь будет духовным лицом, и его надо оберегать от дурных влияний. Ей хотелось видеть в нем отрока Самуила.

Глава 10

Мистер и миссис Кэри решили отдать Филипа в Королевскую школу в Теркенбэри. Все окрестное духовенство посылало туда своих сыновей. Школа была связана давними узами с кафедральным собором: ее директор был почетным каноником, а бывший директор – архидиаконом. Учеников поощряли стремиться к духовной карьере, а преподавание велось с таким уклоном, чтобы каждый добронравный юноша мог посвятить себя служению Богу. У школы были свои приготовительные классы; туда-то и было решено отдать Филипа. В один из четвергов в конце сентября священник повез племянника в Теркенбэри. Весь день Филип волновался. Он знал о школьной жизни только по рассказам в «Юношеской газете». Прочел он также «Эрик, или Мало-помалу».

Когда поезд подошел к Теркенбэри, Филип был полумертв от страха и по дороге в город сидел бледный, не произнося ни слова. Высокая кирпичная стена перед зданием школы делала ее похожей на тюрьму. В стене была дверца, она открылась, когда приезжие позвонили; оттуда вышел неопрятный увалень и внес сундучок Филипа и его ящик с игрушками за ограду. Их провели в гостиную, заставленную тяжелой, безобразной мебелью; стулья, словно солдаты, вытянулись вдоль стен. Мистер Кэри и Филип стали дожидаться директора.

– А он какой, этот мистер Уотсон? – спросил, не выдержав, Филип.

– Погоди, сам увидишь.

Снова наступило молчание. Мистер Кэри недоумевал, почему директор так долго не приходит. Филип с трудом выдавил из себя:

– Ты им скажи, что у меня хромая нога.

Мистер Кэри не успел ответить: дверь распахнулась, и в комнату величественно вошел мистер Уотсон. Филипу он показался гигантом. Это был могучий человек двухметрового роста, с огромными ручищами и большой рыжей бородой; говорил он зычным, веселым голосом, но его бьющая через край жизнерадостность вселяла в Филипа панический страх. Мистер Уотсон пожал руку мистеру Кэри, а потом схватил в свою лапу худенькую руку мальчика.

– Ну, как, молодой человек, рад, что поступаешь в школу? – зарычал он.

Филип покраснел и не нашелся что ответить.

– Сколько тебе лет?

– Девять, – сказал Филип.

– Надо говорить: «Девять лет, сэр», – поправил его дядя.

– Да, тебе еще многому надо подучиться! – весело прогудел директор.

Желая приободрить мальчика, он стал щекотать его шершавыми пальцами. Филип робел и корчился от этих неприятных прикосновений.

– Я пока что поместил его в маленький дортуар… Тебе ведь это больше понравится, правда? – спросил он Филипа. – Вы там будете ввосьмером. Скорее привыкнешь.

Дверь отворилась, и в комнату вошла миссис Уотсон – смуглая женщина с черными волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. У нее были чрезвычайно толстые губы, нос пуговкой и большие черные глаза. Весь ее вид выражал какую-то особенную холодность. Она редко разговаривала и еще реже улыбалась. Муж представил ей мистера Кэри, а потом приветливо подтолкнул к ней Филипа.

– Это – новенький, Элен. Его фамилия Кэри.

Она молча пожала Филипу руку и села, не говоря ни слова. А директор в это время спрашивал мистера Кэри, много ли Филип знает и по каким учебникам он готовился. Священник из Блэкстебла был несколько обескуражен шумливым благодушием мистера Уотсона и очень быстро ретировался.

– Пожалуй, мне лучше оставить Филипа с вами.

– Как хотите, – сказал мистер Уотсон. – Со мной он не пропадет. Поднимется, как на дрожжах. Верно, молодой человек?

Не ожидая от Филипа ответа, великан разразился громовым хохотом. Мистер Кэри поцеловал мальчика в лоб и откланялся.

– За мной, молодой человек! – пророкотал мистер Уотсон. – Я тебе покажу классную комнату.

Он двинулся из гостиной гигантскими шагами, и Филип поспешно заковылял за ним следом. Его привели в большую комнату с голыми стенами и двумя столами, тянувшимися во всю ее длину; по обе стороны столов стояли деревянные скамьи.

– Пока что здесь не очень людно, – сказал мистер Уотсон. – Я покажу тебе площадку для игр, а потом уж привыкай сам.

Мистер Уотсон шел впереди. Филип очутился на просторной площадке, с трех сторон окруженной высокой кирпичной оградой. Вдоль четвертой стороны шла железная решетка, сквозь которую была видна большая поляна, а за ней – здания Королевской школы. По поляне понуро бродил маленький мальчик, подкидывая носком ботинка гравий.

– Привет, Веннинг! – закричал мистер Уотсон. – Ты когда это здесь появился?

Мальчик подошел к ним и поздоровался за руку.

– Вот наш новенький. Он старше и выше тебя, поэтому ты его не задирай.

Директор дружелюбно сверкнул глазами и раскатисто захохотал. У обоих мальчишек сердце ушло в пятки. Потом он оставил их одних.

– Как тебя зовут?

– Кэри.

– Кто твой отец?

– Он умер.

– Ага… А мать твоя любит поесть?

– Мама тоже умерла.

Филип понадеялся, что его ответ смутит мальчика, но Веннинга не так легко было унять.

– Но раньше любила? – настаивал он.

– Наверно, – с возмущением сказал Филип.

– Значит, она была обжора?

– Нет, не была.

– Значит, она померла с голоду.

Мальчишка загоготал от восторга перед собственной железной логикой. Вдруг он обратил внимание на ногу Филипа.

– А что у тебя с ногой?

Филип сделал инстинктивное движение, чтобы убрать ногу. Он отставил ее назад, за здоровую.

– У меня больная нога, – сказал он.

– А что ты с ней сделал?

– Она всегда была такая.

– Дашь посмотреть?

– Не дам.

– Ну и не надо.

Мальчишка вдруг изо всех сил лягнул Филипа в голень. Филип этого не ожидал и не успел увернуться. Боль была так сильна, что он вскрикнул, но еще сильнее боли было недоумение. Он не понимал, почему Веннинг его лягнул. Филип так растерялся, что даже его не стукнул. К тому же мальчик был меньше его, а он прочитал в «Юношеской газете», что подло

бить тех, кто меньше или слабее тебя. Филип стал тереть ушибленную ногу, и в это время появился еще один мальчишка. Веннинг сразу же оставил Филипа в покое. Скоро Филип заметил, что те двое говорят о нем и разглядывают его ногу. Он вспыхнул, и ему стало не по себе.

Но тут появились другие мальчики; их стало уже больше десятка, все они затараторили о том, что делали во время каникул и как здорово играли в крикет. Подошло еще несколько новеньких, с ними разговорился и Филип. Он был робок и очень застенчив. Ему хотелось расположить к себе товарищей, но он не знал, как это сделать. Его забрасывали вопросами, и он охотно на них отвечал. Один из мальчиков спросил, умеет ли он играть в крикет.

– Нет, – ответил Филип. – У меня хромая нога.

Мальчик сразу же взглянул на его ногу и покраснел. Филип понял, что он раскаивается в том, что задал бестактный вопрос, но слишком застенчив, чтобы извиниться. Мальчик растерянно смотрел на Филипа и молчал.

Глава 11

На следующее утро Филипа разбудили удары колокола, и он с удивлением оглядел свою спальню. Но кто-то запел и сразу напомнил ему, где он находится.

– Ты проснулся, Певун?

Дортуар был разделен на спаленки перегородками из полированной сосны, а вместо дверей висели зеленые занавески. В те годы не слишком заботились о вентиляции, и окна открывались только по утрам, чтобы проветрить спальни.

Филип встал с постели и опустился на колени помолиться. Утро было холодное, и его слегка знобило, но дядя внушил ему, что молитва скорее доходит до Бога, если ее читать неодетым, в ночной рубашке. Это его нисколько не удивляло: он уже понимал, что Бог, который его сотворил, любит, чтобы верующие терпели лишения. Филип умылся. На пятьдесят воспитанников было всего две ванны, и каждый мог принять ванну только раз в неделю. Умывались в тазике на умывальнике, который вместе с кроватью и стулом составлял всю обстановку спальни. Одеваясь, мальчики весело болтали. Филип весь превратился в слух. Потом снова прозвонил колокол, и все побежали вниз. Они заняли свои места на скамьях, стоявших возле длинных столов в классной комнате. Вошел мистер Уотсон в сопровождении жены и слуг. Мистер Уотсон сел и прочел молитву. Читал он ее внушительно: обращение к Богу, произнесенное его громовым голосом, воспринималось как угроза, обращенная к каждому из мальчиков лично. Филип слушал его со страхом. Потом мистер Уотсон прочитал главу из Библии, и слуги покинули класс. Минуту спустя встрепанный паренек внес сначала два больших чайника, а потом огромные блюда с хлебом, намазанным маслом.

Филип был разборчив в еде, толстый слой не очень свежего масла сразу же вызвал у него тошноту; увидев, как другие мальчики соскребают это масло с хлеба, он последовал их примеру. У всех школьников, кроме казенной, была и своя еда – копчености и соления, которые они вместе с игрушками привезли из дома; кое-кому дополнительно подавались яйца или сало, на чем неплохо зарабатывал мистер Уотсон. Он спросил у мистера Кэри, должен ли такую добавку получать и Филип, но священник ответил, что, по его мнению, мальчиков не следует баловать. Мистер Уотсон с готовностью согласился: он тоже считает, что хлеб с маслом – лучшая пища для юношества и что некоторые родители зря балуют своих детей, настаивая на особом питании.

Филип заметил, что эти «добавки» подчеркивали привилегированность тех, кто их получал, и решил попросить тетю Луизу, чтобы и ему давали дополнительное кушанье.

После завтрака дети отправились на площадку для игр. Сюда постепенно собрались и приходящие ученики – дети местного духовенства, офицеров расквартированного здесь полка, промышленников и торговцев этого старинного города. Скоро опять прозвонил колокол, и все пошли на занятия. Они происходили в большой длинной комнате; два младших преподавателя в разных ее концах обучали учеников второго и третьего классов. В отдельной комнате рядом мистер Уотсон занимался с учениками первого класса. В официальных отчетах и речах, для того чтобы объединить эту начальную школу с Королевской, ее три класса именовали «высшим, средним и низшим приготовительными классами». Филипа поместили в низший. Учитель – краснощекий человек с приятным голосом, по фамилии Райс, – умел заинтересовать учеников, и время шло незаметно. Филип был удивлен, когда оказалось, что уже без четверти одиннадцать, и учеников отпустили на десятиминутную перемену.

Школа с шумом высыпала во двор. Новичкам было приказано встать посредине; остальные выстроились у стен по сторонам. Началась игра в «свинью посередке». Мальчишки постарше перебегали от одной стенки к другой; новички должны были их ловить; когда кто-нибудь из старших попадался и произносил заветные слова: «Раз, два, три, свинью

бери!» – он становился пленником, переходил на сторону врага и помогал ловить тех, кто еще был на свободе. Филип заметил бегущего мимо него мальчишку и попытался его поймать, но хромота ему мешала, и те, кого ловили, пользуясь этим, старались пробежать мимо него. Одному из школьников пришла в голову блестящая идея передразнить неуклюжую походку Филипа. Другие засмеялись, а потом и сами стали подражать товарищу; они бегали вокруг Филипа, смешно прихрамывая, вопили высокими ломающимися голосами и визгливо хохотали. Восторг, который они испытывали от этой новой забавы, заставил их совсем потерять голову – они давились от смеха. Один из них подставил Филипу ногу; тот упал, как всегда тяжело, и рассек коленку. Кругом захохотали еще громче. Когда он поднялся, один из мальчиков толкнул его сзади, и Филип упал бы снова, если бы другой его не подхватил. Игра была забыта, физическое уродство Филипа развлекало их куда больше. Один из ребят придумал странную прихрамывающую походку и стал раскачиваться всем туловищем; это показалось удивительно забавным, и несколько мальчишек повалились на землю, катаясь от смеха. Филип был напуган до немоты. Он не мог понять, почему над ним смеются. Сердце у него билось так, что ему трудно было дышать, – такого страха он не испытывал никогда в жизни. Он стоял как вкопанный, а мальчишки бегали вокруг него, кривляясь и хохоча; они кричали ему, чтобы он их ловил, но он словно окаменел. Ему не хотелось, чтобы снова видели, как он бегает. Он напрягал все силы, стараясь не заплакать.

Внезапно зазвонил колокол, и все толпой ринулись в школу. У Филипа из колена текла кровь; он был растрепан и весь в пыли. Мистеру Райсу не сразу удалось навести порядок в классе. Его ученики все еще были возбуждены новой забавой, и Филип заметил, что двое или трое из них смотрят вниз, на его ноги. Он поджал их подальше под парту.

После обеда, когда школьники отправлялись играть в футбол, мистер Уотсон остановил Филипа.

– Кэри, ты, наверно, не можешь играть в футбол?

Филип стыдливо вспыхнул.

– Нет, сэр.

– Не огорчайся. Но ты все-таки ступай на поле… Ты можешь туда дойти? Для тебя это не далеко?

Филип представления не имел, где это поле, но все же ответил:

– Нет, сэр.

Мальчики отправились под командой мистера Райса. Увидев, что Филип не переоделся в спортивный костюм, учитель спросил, почему он не хочет играть.

– Мистер Уотсон сказал, что мне можно не играть, сэр.

– Почему?

Филип чувствовал, что со всех сторон на него обращены любопытные взгляды; его мучил стыд. Он молчал, опустив глаза. За него ответили другие:

– У него хромая нога, сэр.

– Ах вот как…

Мистер Райс был очень молод, диплом он получил только в прошлом году, и он вдруг растерялся. Учителя так и подмывало извиниться перед Филипом, но что-то ему мешало. Он вдруг сердито прикрикнул:

– А ну-ка, мальчики, чего вы ждете? Марш!

Кое-кто зашагал вперед; за ними двинулись и остальные группами по двое и по трое.

– А вы, Кэри, лучше идите со мной. Вы же не знаете дороги.

Филип понял, что учитель пожалел его, и к горлу у него подступил комок.

– Я не могу ходить очень быстро, сэр.

– Тогда я пойду очень медленно, – с улыбкой сказал учитель.

С этой минуты сердце Филипа было отдано краснощекому и самому что ни на есть заурядному молодому человеку, у которого нашлось для него ласковое слово. Он вдруг почувствовал себя не таким несчастным.

Ночью, когда все укладывались спать, мальчик по прозвищу Певун вышел из своей спальни и заглянул к Филипу.

– Послушай-ка, дай посмотреть на твою ногу, – попросил он.

– Не дам, – сказал Филип и быстро прыгнул в кровать.

– Нет, дашь, – сказал Певун. – А ну-ка, хватай его, Мейсон!

Мальчик из соседней спальни выглянул из-за перегородки и, услышав приглашение, проскользнул за занавеску. Вдвоем они накинулись на Филипа и стали сдирать с него одеяло, но тот крепко держал его обеими руками.

– Оставьте меня в покое! – закричал он.

Певун схватил головную щетку и стал оборотной стороной бить Филипа по пальцам. Филип вскрикнул от боли.

– А ты почему не показываешь нам ногу?

– Не хочу!

В отчаянии Филип стукнул своего мучителя кулаком, но сила была не на его стороне, и мальчишка, ухватив его за руку, начал ее вывертывать.

– Не надо, не надо! – взмолился Филип. – Ты мне руку сломаешь.

– А ты молчи и покажи ногу.

Филип всхлипнул, потом разрыдался. Мальчик вывертывал ему руку все сильнее. Боль стала невыносимой.

– Ладно, покажу! – сказал он.

Он высунул ногу из-под одеяла. Певун крепко держал руку Филипа и с любопытством разглядывал его уродливую ступню.

– Ужасная гадость, правда? – сказал Мейсон.

Вошел еще один мальчик и принял участие в осмотре.

– Фу! – сказал он с отвращением.

– Вот уродина, – скривившись, сказал Певун. – А она твердая?

Он пощупал ногу кончиком пальца так опасливо, словно она была чем-то одушевленным. Вдруг на лестнице послышались тяжелые шаги мистера Уотсона. Мальчишки накинули на Филипа одеяло и, как мыши, бросились врассыпную по своим спальням. В дортуар вошел мистер Уотсон. Встав на цыпочки, он мог заглянуть поверх зеленой занавески и проверить, что за ней делается. Окинув взором три кровати, он убедился, что мальчики спокойно спят, погасил свет и вышел.

Певун окликнул Филипа, но тот молчал. Вцепившись зубами в подушку, он беззвучно плакал. Он плакал не от боли, не от унижения, которое испытал, когда рассматривали его ногу, а от ненависти к себе самому, не выдержавшему пытки, к своему слабодушию.

И тут он почувствовал, как он несчастен. Его детской душе казалось, что страдания – удел всей его жизни. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил то холодное утро, когда Эмма вынула его из кроватки и положила рядом с матерью. С тех пор он ни разу об этом не думал, но сейчас живо припомнил теплоту материнского тела и прикосновение ее рук. Вдруг ему почудилось, что все это сон – и смерть матери, и жизнь у дяди, и эти два горьких дня в школе, утром он проснется и очутится снова дома. От этой мысли слезы высохли. Ему слишком горько, так бывает только во сне, и мама его жива, и Эмма скоро придет и ляжет спать… Он забылся.

Но наутро его разбудил звон колокола, и, открыв глаза, он увидел зеленую занавеску своей спальни.

Глава 12

Время шло, и хромота Филипа перестала вызывать интерес. Ее уже не замечали, как рыжие волосы другого мальчика или противоестественную тучность третьего. Но Филип стал чудовищно мнительным. Он по возможности старался не бегать, зная, что тогда его увечье заметнее, и выработал особую походку. Он привык стоять неподвижно, пряча уродливую ногу позади здоровой, чтобы не привлекать к ней внимания, и вечно с тревогой ожидал насмешек. Не участвуя в играх других ребят, он был выключен из их жизни. На все, что волновало их, он мог смотреть только со стороны; ему казалось, что между ним и его товарищами – непреодолимая стена. Иногда им казалось, будто он сам виноват в том, что не играет в футбол, а он не мог им ничего объяснить. Он часто бывал предоставлен самому себе. От природы общительный, Филип постепенно сделался молчаливым. Он начал задумываться над тем, что отличает его от других ребят.

Самый рослый мальчик в дортуаре, Певун, его невзлюбил, и щуплому для своих лет Филипу пришлось немало от него вытерпеть. Посреди семестра всю школу охватила мания игры в «перышки». Играли двое, сидя за столом или за партой, стальными перьями. Один ногтем толкал свое перо так, чтобы кончиком его покрыть кончик пера противника, а тот должен был помешать этому и в свою очередь добиваться того, чтобы его перо оказалось сверху; победитель, подышав на подушечку большого пальца, с силой прижимал оба перышка и, если ему удавалось поднять их в воздух и не уронить, становился обладателем обоих перьев. Скоро вся школа была целиком поглощена этой игрой, и наиболее искусные стали владельцами множества перышек. Мистер Уотсон, решив, что это – разновидность азартной игры, запретил ее и отнял у мальчиков перья. Филип, проявивший в этой игре большую ловкость, отдал свой выигрыш с тяжелым сердцем; пальцы его так и тянулись к перышкам, и спустя несколько дней по дороге на футбольное поле он зашел в магазин и купил перьев рондо на целое пенни. Он таскал их в кармане и радовался, чувствуя их под рукой. Певун дознался, что у Филипа есть перья. Ему тоже пришлось отдать свои запасы, но он утаил одно, самое большое перо, по прозвищу Слон, которое никто не мог победить. Трудно было избежать соблазна и не постараться выиграть у Филипа все его перья! И хотя Филип понимал слабость своих маленьких перышек, он от природы любил рисковать; к тому же он знал, что Певун все равно не даст ему покоя. Филип не играл уже целую неделю и сел за стол, предвкушая удовольствие. Он быстро потерял два своих перышка, и Певун уже ликовал, но в третий раз Слон каким-то образом промазал, и Филип сумел прикрыть его своим рондо. Он даже застонал от торжества. В этот миг в комнату вошел мистер Уотсон.

– Что вы тут делаете? – спросил он, переводя взгляд с Филипа на Певуна, но оба молчали.

– Разве вы не знаете, что я запретил эту идиотскую игру?

Сердце у Филипа отчаянно билось. Он знал, что им грозит, и был страшно испуган, но к страху у него примешивалось какое-то приятное волнение. Филипа никогда еще не пороли. Конечно, это больно, зато будет чем похвастаться потом!

– Ступайте ко мне в кабинет.

Директор повернулся, и они пошли за ним. Певун прошептал Филипу:

– Ну, влетит!

Мистер Уотсон показал пальцем на Певуна.

– Нагнись.

Белый как мел Филип смотрел, как мальчик вздрагивает от каждого удара; после третьего он вскрикнул. За этим ударом последовало еще три.

– Хватит. Поднимайся.

Певун выпрямился. По его лицу катились слезы. Филип сделал шаг вперед. Мистер Уотсон посмотрел на него.

– Тебя я пороть не буду. Ты – новенький. И не могу я бить калеку. Ступайте оба и в следующий раз извольте слушаться.

Когда они вернулись в класс, их окружила толпа ребят, откуда-то пронюхавших о том, что с ними стряслось. Мальчишки жадно накинулись на Певуна с расспросами. Лицо у Певуна покраснело от боли, на щеках еще были следы слез. Он мотнул головой на Филипа, стоявшего позади.

– Ему сошло с рук, потому что он калека, – сказал он зло.

Филип сжал зубы, сгорая от стыда. Он чувствовал, что мальчики смотрят на него с презрением.

– Сколько тебе дали? – спросил один из них Певуна.

Но тот не ответил. Он был зол: ведь ему сделали больно.

– Ты меня больше не проси с тобой играть, слышишь? Тебе-то что! Ты ничем не рискуешь.

– Я тебя и не просил!

– Врешь!

Он быстро дал ему подножку. Филип всегда неустойчиво держался на ногах, он больно грохнулся об пол.

– Калека! – крикнул Певун.

Он жестоко терзал Филипа до самого конца семестра, и, хотя тот старался не попадаться ему на глаза, школа была так мала, что скрыться не удавалось. Филип пробовал заговорить со своим мучителем по-товарищески; он унизился даже до того, что купил ему нож; но, хотя Певун и взял нож, он не утихомирился. Раза два, доведенный до отчаяния, Филип попытался ударить или лягнуть Певуна, но тот был намного его выше и настолько сильнее, что Филип не мог с ним справиться и, натерпевшись мук, всегда был вынужден просить пощады. Филипа угнетала развязка: унизительные извинения, которые вымогали у него при помощи нестерпимых пыток. Но хуже всего было то, что страданиям его, казалось, не будет конца; Певуну исполнилось всего одиннадцать лет, а в приготовительных классах он пробудет до тринадцати. Филип знал, что ему суждено целых два года прожить с палачом, от которого не было спасения. Он был счастлив только во время уроков и когда ложился в постель. И по вечерам к нему часто возвращалось странное чувство, что жизнь его со всеми ее бедами – только сон и утром он проснется в своей кроватке в Лондоне.

Глава 13

Прошло два года, и Филипу было уже около двенадцати лет. Учился он в первом классе, шел вторым или третьим учеником, и после Рождества, когда несколько мальчиков перейдут из его класса в Королевскую школу, он станет первым. У него уже скопилась целая коллекция наград (никому не нужные книги на скверной бумаге, хотя и в роскошных переплетах, украшенных гербом школы). Завоеванное положение спасало его от издевательств, и жизнь больше не казалась такой уж тяжкой. Товарищи прощали ему успехи за его хромоту.

– Подумаешь! Кэри сам Бог велел получать награды, – говорили они. – Что ему еще делать, как не зубрить?..

Страх его перед мистером Уотсоном пропал. Он привык к его львиному рыку, и, когда на плечо его опускалась тяжелая рука директора, Филип угадывал в этом прикосновении ласку. У него была отличная память, что куда важнее для хорошего ученика, нежели умственные способности, и он знал, что мистер Уотсон рассчитывает выпустить его из приготовительной школы со стипендией.

Но Филип постоянно чувствовал себя настороже. Младенец не отдает себе отчета в том, что тело его принадлежит ему больше, чем окружающие предметы; он играет пальцами ноги, не чувствуя, что они – часть его самого и чем-то отличаются от висящей рядом погремушки; лишь постепенно, испытав боль, ребенок начинает ощущать самостоятельное существование своего тела. Индивидууму, чтобы осознать свое «я», необходим такой же опыт; однако разница заключается в том, что всякий человек ощущает свое тело как особый и самостоятельный организм, но отнюдь не каждый осознает свое «я» как самостоятельную и независимую личность. Ощущение отчужденности от других приходит обычно с половой зрелостью, но не всегда развивается до такой степени, чтобы отличие индивидуума от окружающих стало заметно ему самому. И вот людям, так же мало осознающим свое «я», как пчелы в улье, суждена в жизни удача: им куда чаще выпадает счастье, ведь их бытие делит с ними все общество, их радости только потому и становятся радостями, что ими тешатся сообща; такие люди пляшут в Духов день на Хэмстед-хит, орут на футбольном матче, машут из окон клубов на Пелл-Мелл королевскому кортежу. Это благодаря им человека прозвали общественным животным.

Филип шагнул от простодушия младенчества к горькому ощущению своего «я», подгоняемый насмешками, которым подвергалась его хромота. Условия его существования были необычны; к ним нельзя было применить ходячие правила, и ему волей-неволей приходилось думать самостоятельно.

Он прочел множество книг, и в голове его роились мысли, которые он еще и сам не вполне понимал; может, поэтому они так будоражили его воображение. Болезненная застенчивость делала его замкнутым, но в душе у него что-то созревало, и он смутно начинал отдавать себе отчет в том, что он – личность. По временам эта личность самого его удивляла: он совершал безотчетные поступки и, раздумывая о них потом, так и не мог их себе объяснить.

Он подружился с мальчиком по фамилии Люард, и однажды, когда они вдвоем играли в классе, Люард стал показывать какой-то фокус с ручкой из черного дерева, принадлежавшей Филипу.

– Брось валять дурака, – сказал Филип. – Ты ее сломаешь.

– Не сломаю.

Но не успел он договорить, как ручка переломилась пополам. Люард с испугом посмотрел на Филипа.

– Прости, пожалуйста. Мне ужасно жалко, что она сломалась.

По щекам Филипа катились слезы; он не произнес ни слова.

– Послушай, что с тобой? – с изумлением спросил Люард. – Я куплю тебе точно такую же ручку.

– Мне не ручки жалко, – сказал Филип дрожащим голосом, – но ее подарила мне мама перед смертью…

– Послушай, Кэри, извини меня, пожалуйста…

– Да что там. Чем же ты виноват…

Филип взял обломки ручки и, глядя на них, старался сдержать рыдания. Он чувствовал себя ужасно несчастным и сам не знал почему: ведь он-то отлично помнил, что купил эту ручку за шиллинг и два пенса в Блэкстебле во время каникул. Филип сам не мог понять, что заставило его выдумать эту трогательную историю, но так горевал, словно все это была правда. Набожная атмосфера в семье священника и религиозная обстановка в школе сделали Филипа очень совестливым; он привык верить в то, что искуситель не дремлет, охотясь за его бессмертной душой, и, хотя он и не был правдивее других ребят, всякая ложь заставляла его потом горько раскаиваться. Думая об этом происшествии, он очень каялся и наконец решил пойти к Люарду и сознаться в том, что все выдумал. И, пуще всего на свете боясь унижения, он целых три дня тешился мыслью о том, какую горькую радость испытает, унизив себя во славу Божию. Однако дальше этой мысли он не пошел. Он облегчил свою совесть более легким способом – покаявшись только перед Всевышним. Но Филип так и не понял, почему его взволновала история, которую он же сам выдумал. Ведь слезы текли по его грязным щекам, и это были неподдельные слезы! И тогда по какой-то ассоциации он вспомнил, как Эмма сообщила ему о смерти матери, а он, обливаясь слезами, все же настоял на том, чтобы проститься с мисс Уоткин и ее сестрой. Ему хотелось, чтобы они видели, как он горюет, чтобы его пожалели.

Глава 14

Потом всю школу захлестнула волна религиозного чувства. Не слышно стало ругани, и мелкие пакости малышей вызывали искреннее возмущение; старшие мальчики, словно средневековые рыцари-тамплиеры, пользовались мощью своей длани для того, чтобы направить слабых духом на стезю добродетели.

Филип со своим беспокойным умом, жадным до всего нового, стал очень набожным. Прослышав, что можно вступить в Библейскую лигу, он написал в Лондон, желая разузнать о ней поподробнее. Ему прислали опросный лист, в котором надлежало сообщить имя, возраст и учебное заведение; он должен был также дать торжественное обещание в том, что каждый вечер в течение года будет читать отрывок из священного писания; в конце его просили выслать полкроны. Деньги, как ему разъясняли, нужны для того, чтобы убедиться в серьезности его намерений и покрыть канцелярские расходы. Филип, не откладывая, выслал то, что у него просили, в ответ он получил календарь стоимостью в пенни, на котором были размечены главы для чтения Библии, и лист бумаги, на одной стороне его изображался божественный пастырь с ягненком, а на другой была напечатана молитва в красивой красной рамке. Ее полагалось произносить перед чтением священного писания.

Теперь каждый вечер Филип спешил поскорее раздеться, чтобы прочесть побольше, прежде чем погасят газ. Читал он, как всегда, прилежно, не допуская в душу сомнений, рассказы о жестокостях, коварстве, бесчестии, неблагодарности и низком обмане. Поступки, которые непременно возбудили бы в нем ужас, случись они в жизни, не вызывали у него осуждения, ибо совершались по прямому внушению Божьему. Лига предлагала чередовать главу из Ветхого завета с главой из Нового, и как-то ночью Филипу попались такие слова Христа:

> «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горé сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, – будет.
>
> И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите».

Слова эти не произвели на него особого впечатления, но случилось так, что дня через два, в воскресенье, соборный каноник выбрал этот же текст для своей проповеди. Если бы Филип и захотел ее слушать, ему бы это все равно не удалось: ученики Королевской школы сидели на хорах, а кафедра помещалась в углу бокового нефа, так что проповедник стоял к ним почти спиной. Да и расстояние было так велико, что на хорах можно было услышать только человека с хорошим голосом и дикцией, а по давней традиции каноников Теркенбэри выбирают скорее за образованность, чем за умение служить у алтаря. Однако евангельский текст, взятый для проповеди, Филип все же расслышал – может быть, потому, что он так недавно его прочел, – и мальчику вдруг показалось, что он касается его лично. Он раздумывал об этих словах чуть не всю проповедь и вечером, улегшись в постель, перелистал Новый завет и снова отыскал нужное место. И хотя он неукоснительно верил всему, что напечатано в книгах, в Библии, как он уже убедился, часто говорилось одно, а подразумевалось, неизвестно почему, совсем другое. В школе не было человека, к которому он мог бы пойти за советом, поэтому он решил отложить волновавший его вопрос до рождественских каникул, и тут ему представился подходящий случай. Дело было после ужина, вечерние молитвы были уже прочитаны. Миссис Кэри считала яйца, которые, как всегда, принесла Мэри-Энн, и писала на них дату. Филип стоял у стола и с безразличным видом перелистывал Библию.

– Послушай, дядя, вот это место… Как по-твоему, что оно означает?

Он показал пальцем абзац так, словно напал на него случайно.

Мистер Кэри взглянул на племянника поверх очков. Он сидел возле камина, держа у огня «Блэкстебл таймс». В тот вечер газета пришла из типографии еще сыроватая, и священник всегда в таких случаях подсушивал ее минут десять, прежде чем приняться за чтение.

– Какое место? – спросил он.

– Да вот тут написано, что, если у тебя есть вера, ты можешь сдвинуть с места горы.

– Если это сказано в Библии, значит, так оно и есть, – мягко заметила миссис Кэри, унося корзину со столовым серебром.

Филип молча смотрел на дядю, ожидая ответа.

– Все дело в вере.

– Неужели правда, что стоит поверить, будто ты можешь сдвинуть с места гору, и ты ее в самом деле сдвинешь?

– С Божьей помощью, – сказал священник.

– Ну, Филип, пожелай дяде «спокойной ночи», – вмешалась тетя Луиза. – Ты ведь сегодня ночью не собираешься двигать гору?

Филип подставил дяде лоб для поцелуя и пошел наверх с тетей Луизой. Он получил ответ. В его комнате воздух был ледяной, и Филип дрожал, надевая ночную рубашку. Но он всегда верил, что молитвы угоднее Богу, если ты читаешь их, терпя неудобства. Окоченевшие руки и ноги были жертвой на алтарь Всевышнего. И сегодня он упал на колени, закрыл лицо руками и стал пламенно молиться Богу, чтобы тот сделал его уродливую ногу такой, как у всех. Ведь это же мелочь, разве можно сравнить какую-то ногу с горой? Он знал, что, если Бог захочет, он может это сделать, и его вера была несокрушима. На следующее утро, кончая молитву все той же просьбой, он назначил день, когда должно было совершиться чудо.

– О Господи всеблагой и всемилостивый! Если будет на то твоя воля, прошу тебя, сделай мою ногу здоровой в ночь накануне моего возвращения в школу!

Ему было приятно, что он сумел выразить свою просьбу в такой складной форме, и он повторил ее в столовой, перед тем как подняться с колен после утренней молитвы, во время краткого молчания, которого требовал священник. Он снова произнес ее вечером, а потом еще раз, дрожа от холода, перед сном. И он верил. В первый раз он ждал с нетерпением конца каникул. Он смеялся в душе, представляя удивление дяди, когда тот увидит, как он бежит вприпрыжку с лестницы, перескакивая через три ступеньки… А после завтрака им с тетей Луизой придется спешно покупать новую пару ботинок. В школе будут поражены.

– Эй, Кэри, что ты сделал со своей ногой?

– Она у меня теперь в порядке, – скажет он небрежно, как будто произошла самая обычная вещь на свете.

Он сможет играть в футбол. Сердце его дрогнуло, когда он представил себе, как он бежит, бежит быстрее других ребят. В конце пасхального семестра будут спортивные состязания, и он сможет участвовать в беге; ему очень хотелось участвовать в беге с препятствиями. Какое счастье быть таким, как все, чтобы на тебя не пялили глаза новички, которые еще не знают о твоем увечье, чтобы летом, во время купания, тебе не нужно было принимать самые невероятные предосторожности, пока ты раздеваешься и еще не успел спрятать ногу в воде…

Он молился от всей души. Сомнения его не тревожили. Он полагался на слово Божие. И в ночь накануне отъезда в школу он отправился спать, дрожа от волнения. Выпал снег, и тетя Луиза позволила себе непривычную роскошь – она затопила камин в своей спальне. Но в комнатушке Филипа было так холодно, что у него совсем онемели пальцы, и ему было трудно расстегнуть воротник. Зубы его стучали. Он решил, что сегодня ему надо совершить нечто из ряда вон выходящее, чтобы заслужить милость Бога, и он отвернул коврик у кровати и встал коленями на голые доски; тогда ему показалось, что ночная рубашка – это тоже баловство и может рассердить Создателя; он снял ее и стал молиться голый. Когда он лег в

постель, ему было ужасно холодно и он долго не мог заснуть, но сон наконец пришел, и такой крепкий, что Мэри-Энн наутро с трудом его разбудила. Она принесла горячую воду и что-то ему говорила, раздвигая занавески, но Филип ей не отвечал: он сразу же вспомнил, что в это утро должно было свершиться чудо. Сердце его было полно благодарности и восторга. Он инстинктивно вытянул руку, чтобы пощупать ступню, которая была теперь такой, как у всех, но тут же отдернул ее, боясь, что это будет означать сомнение в благости Божьей.

Он ведь знает, что нога его здорова. Но в конце концов он все-таки решился и пальцами правой ноги легонько дотронулся до левой. Потом он провел по ней рукой.

Хромая, Филип спустился вниз, когда Мэри-Энн входила в столовую на молитву. Потом он сел завтракать.

– Ты сегодня какой-то тихий, – немного погодя сказала ему тетя Луиза.

– Он мечтает о вкусном завтраке, который ему завтра подадут в школе, – сказал священник.

Помолчав, Филип ответил, но по всегдашней своей манере совсем не на то, о чем шла речь, – дядя злился и называл это дурацкой привычкой витать в облаках.

– Предположим, ты просил о чем-то Бога, – сказал Филип, – и верил по-настоящему, что он это сделает, вот, например, передвинет гору на другое место или что-нибудь еще, понимаешь? И у тебя есть вера, а ничего не случилось. Что бы это могло значить?

– Какой странный мальчик! – сказала тетя Луиза. – Ты две недели назад уже спрашивал, можно ли передвинуть гору.

– Это значит, что у тебя не хватает веры, – ответил дядя Уильям.

Филип принял это объяснение. Если Бог его не исцелил, значит, он верил не так, как нужно. Но в то же время он не понимал, как можно было верить сильнее. А что, если он дал Богу слишком мало времени? Он молил его всего каких-то девятнадцать дней. Через день-другой он стал снова повторять свою молитву и назначил Богу новый срок – Пасху. В этот светлый день воскрес из мертвых сын Божий, и Бог на радостях должен быть настроен милостиво. Но на этот раз Филип принял и другие меры, чтобы его заветное желание было исполнено: он загадывал его, глядя на молодой месяц или на коня в яблоках; ждал, не упадет ли звезда; во время короткой побывки дома им как-то подали курицу, и он ломал дужку с тетей Луизой, загадывая снова и снова, чтобы его нога стала здоровой, как у других. Бессознательно он взывал к богам куда более древним, чем Бог Израилев. Он засыпáл Всевышнего своими молитвами во всякое время дня, когда бы он об этом ни вспомнил, но всегда в одних и тех же выражениях: ему почему-то казалось, что точность слов тут очень важна. Однако скоро он стал чувствовать, что и теперь его веры не хватит.

Он уже не мог подавить в себе сомнения. И дело кончилось тем, что свой личный опыт он возвел в общее правило.

– Видно, ни у кого не хватает веры, – говорил он себе.

Все это было похоже на басни его няньки: та его уверяла, что можно поймать любую птицу, насыпав ей соли на хвост; как-то раз маленький Филип взял с собой в Кенсингтонский парк мешочек с солью. Но ему ни разу не удалось подобраться к птице так близко, чтобы можно было насыпать ей соли на хвост. Перед Пасхой Филип прекратил всякую борьбу. К дяде, который его обманул, он почувствовал глухую злобу. Текст, где говорилось, что вера движет горами, был лишним примером того, что в книгах пишется одно, а на деле выходит совсем другое. Дядя, наверно, просто подшутил над ним.

Глава 15

Королевская школа в Теркенбэри, куда Филип поступил в тринадцать лет, гордилась своим древним происхождением. Основанная еще до завоевания Англии норманнами, она сперва была школой при аббатстве – начатки наук преподавались там монахами-августинцами; с уничтожением монастырей школа, как и многие подобные ей заведения, была реорганизована чиновниками короля Генриха VIII, откуда и получила свое название. С тех пор она занимала подобающее ей место и давала образование детям дворян и лиц свободных профессий Кента. Из ее питомцев вышло несколько знаменитых литераторов, начиная с того поэта, чей гений уступал лишь блистательному гению Шекспира, и кончая прозаиком, чьи взгляды на жизнь глубоко повлияли на поколение Филипа; она воспитала и двух-трех известных адвокатов – положим, известные адвокаты совсем не редкость – и столько же видных военных. Но все три столетия, с тех пор как она отделилась от монашеского ордена, школа готовила главным образом мужей церкви: епископов, настоятелей, каноников и больше всего сельских священников; в школе были мальчики, отцы, деды и прадеды которых учились в ее же стенах, а затем становились приходскими священниками в Теркенбэрийской епархии; такие мальчики поступали в школу с готовым решением сделать духовную карьеру. Впрочем, даже тут заметны были признаки надвигавшихся перемен: кое-кто из учеников, вторя пересудам взрослых, поговаривал, будто церковь уже не та, что прежде. Дело было даже не в ее доходах – изменился класс людей, которые желали принять духовный сан; мальчики знали священников, чьи отцы были простыми лавочниками. Лучше уж отправиться в колонии (в те дни колонии все еще были последней надеждой тех, кому нечего было делать в Англии), чем стать помощником какого-нибудь типа, который не был джентльменом. В Королевской школе, как и в доме блэкстеблского священника, лавочником считали всякого, кто не сподобился владеть землею (хотя и здесь проводилось тонкое различие между помещиком из дворян и простым землевладельцем) или не принадлежал к одной из четырех профессий, достойных джентльмена. Среди приходящих учеников – их было около ста пятидесяти – сыновья местных дворян и офицеров презирали тех, чьи отцы занимались коммерцией.

Учителя не признавали модных взглядов на воспитание, о которых иногда почитывали в «Таймсе» или «Манчестер гардиан»; они от души надеялись, что Королевская школа останется верна своим старым традициям. Древние языки преподавались с таким усердием, что бывший ученик всю жизнь не мог подумать о Гомере или Вергилии без отвращения; хотя в учительской иной смельчак за обедом и утверждал подчас, что роль математики нынче возрастает, большинство стояло на том, что изучать классические языки куда благороднее. Ни немецкому, ни химии не учили, а французский преподавали лишь классные наставники; они могли блюсти порядок в классе лучше какого-нибудь иностранца, а грамматику знали не хуже любого француза – что за беда, если ни один из них не смог бы заказать чашки кофе в ресторане в Булони, если бы официант хоть чуть-чуть не понимал по-английски? Обучение географии сводилось к тому, что ребят заставляли чертить карты, в особенности если изучаемая страна была гористой: можно убить уйму времени, вычерчивая Анды или Апеннины. Учителя были выпускниками Оксфорда или Кембриджа, посвящены в духовный сан и все как один – холостяки; если кто-нибудь из них вдруг решал жениться, ему оставалось лишь принять от капитула менее доходную должность; но за много лет никто из них не пожелал променять изысканное теркенбэрийское общество – благодаря кавалерийскому гарнизону здесь была не только духовная, но и военная знать – на однообразную жизнь в сельском приходе; во времена Филипа все учителя были людьми пожилыми.

Зато директору полагалось быть человеком женатым, и он руководил школой, пока у него хватало сил. Когда он выходил в отставку, его награждали пенсией, куда большей, чем та, на какую могли рассчитывать учителя, и саном почетного каноника впридачу.

Но за год до поступления Филипа в школе произошли серьезные события. Давно было ясно, что доктор Флеминг, пробывший директором уже четверть века, стал чересчур глух, чтобы продолжать свою деятельность во славу Господню; когда на одной из окраин города освободился приход с окладом в шестьсот фунтов, доктору предложили принять его в весьма недвусмысленных выражениях, подразумевавших, что ему давно пора на покой. На такое жалованье нетрудно было врачевать свои недуги. Младшие священники, надеявшиеся на повышение, говорили своим женам, что обидно отдавать приход, нуждавшийся в молодом, крепком и энергичном человеке, старикану, который понятия не имеет о приходских делах и уже скопил деньжат на черный день; но жалобы необеспеченного духовенства не достигали ушей членов капитула. Что касается прихожан, то их дело было сторона и никто их мнения не спрашивал. К тому же у них был выбор: в приходе имели свои молитвенные дома как методисты, так и баптисты.

Когда избавились от доктора Флеминга, пришлось подыскать ему заместителя. Избрание одного из младших учителей нарушило бы школьные традиции. Учительская была единодушно настроена в пользу мистера Уотсона, директора приготовительных классов; его никак нельзя было считать преподавателем Королевской школы; все знали его добрых двадцать лет и не боялись с его стороны подвоха. Но капитул преподнес им сюрприз. Он назначил некоего Перкинса. Сперва никто не знал, кто такой Перкинс, и это простонародное имя само по себе вызывало кривотолки; но, прежде чем улеглось первое потрясение, выяснилось, что это сын Перкинса, торговца полотном. Доктор Флеминг с нескрываемым ужасом сообщил об этом классным наставникам как раз перед обедом. Все, кто сидел за столом, ели в молчании, не касаясь этой темы, пока слуги не покинули комнату. Зато потом они отвели душу. Имена присутствовавших не имеют значения, но целые поколения школьников звали их Занудой, Дегтем, Соней, Ирлашкой и Выскочкой.

Все они знали Тома Перкинса. Во-первых, он был плебеем. Они его отлично помнили. Это был маленький, смуглый, глазастый мальчик с всклокоченными черными волосами. Вылитый цыганенок. В школе он был приходящим учеником и получал наивысшую стипендию, так что образование не стоило ему ни гроша. Конечно, у него были блестящие способности. Ежегодно школьный акт приносил ему награды. Учителя выставляли его напоказ, и теперь они с горечью вспоминали, как в свое время боялись, что он попытается получить стипендию в какой-нибудь из более привилегированных школ и таким образом ускользнет у них из рук. Доктор Флеминг даже посетил его отца, торговца полотном – все они помнят лавку Перкинса и Купера на Сент-Кэтрин-стрит, – и выразил надежду, что Том останется у них в школе до поступления в Оксфорд. Школа была самым выгодным покупателем Перкинса и Купера, и мистер Перкинс с радостью заверил директора, что все будет в порядке. Слава Тома Перкинса не меркла, по древним языкам он был лучшим учеником из всех, кого помнил доктор Флеминг, и по окончании школы получил самую большую стипендию, какую она могла предложить. В колледже святой Магдалины он получил еще одну стипендию, с чего и началась его блестящая университетская карьера. Школьный журнал каждый год отмечал достигнутые им успехи, и, когда по окончании университета он получил диплом первой степени по двум специальностям, доктор Флеминг собственноручно начертал в передовице несколько похвальных слов. Его успехи радовали всех еще и потому, что для Перкинса и Купера настали тяжелые времена: Купер пил горькую, и фирме пришлось заявить о банкротстве как раз накануне получения Томом Перкинсом ученой степени.

В положенный срок Том Перкинс принял духовный сан и вступил на ту стезю, для которой подходил как нельзя более. Он служил младшим преподавателем в Веллингтоне, а потом в Регби.

Но между признанием его успехов в других школах и службой под его началом в их собственной была большая разница. Деготь часто заставлял его переписывать латинские и греческие стихи, а Выскочка драл его за уши. Они были поражены, как это капитул допустил такую ошибку. Разве можно забыть, что Перкинс – сын обанкротившегося торговца полотном, а пьянство Купера еще усугубляло этот позор. Разнесся слух, что настоятель усердно поддерживал его кандидатуру, так что, вероятно, Перкинса будут приглашать к нему ужинать; но останутся ли эти интимные трапезы такими же приятными, как прежде, если за стол посадят Тома Перкинса? А как насчет гарнизона? Не мог же Перкинс ожидать, что офицеры и все прочие джентльмены примут его как равного. Все это нанесет школе неизмеримый урон. Родители будут недовольны, и, чего доброго, ученики начнут толпами переходить в другие школы. И вдобавок какое унижение – называть его «мистер Перкинс»! Учителя собирались в знак протеста коллективно подать в отставку, но их удерживал страх, что отставка будет принята.

– Да, новшеств нам не миновать, – промолвил Зануда, который уже двадцать пять лет с поразительной бездарностью вел пятый класс.

Встреча с Перкинсом не внесла успокоения в их души. Доктор Флеминг пригласил их для этой встречи на обед. Новому директору было уже года тридцать два, он был высок и худощав, но сохранил все тот же диковатый и растрепанный вид, который они помнили с его мальчишеских лет. Одевался он небрежно, костюм был дурно сшит и изрядно поношен. Волосы были по-прежнему черные и длинные, но расчесывать он их, по-видимому, так и не научился; при каждом движении они падали ему на лоб, и он привычным жестом отбрасывал их назад. Рот был закрыт черными усами, лицо заросло бородой до самых скул. Беседовал он с учителями совершенно свободно, словно расстался с ними каких-нибудь две недели назад; казалось, он был в восторге, что видит их снова. Он явно не чувствовал неловкости положения и не видел ничего странного в том, что его называют мистером Перкинсом.

Прощаясь, один из учителей заметил из вежливости, что у Перкинса еще много времени до отхода поезда.

– Я хочу побродить по городу и взглянуть на лавку, – весело ответил тот.

Наступило замешательство. Учителя подивились его бестактности, в довершение доктор Флеминг не расслышал его слов. Миссис Флеминг пришлось крикнуть ему в самое ухо:

– Он хочет побродить по городу и поглядеть на отцовскую лавку.

Один лишь Том Перкинс не чувствовал унижения, которое испытывало все общество. Он спросил миссис Флеминг:

– Вы, случайно, не знаете, кому она сейчас принадлежит?

Она чуть было не лишилась языка. Ее охватила ярость.

– Там все еще торгуют полотном, – резко сказала она. – Хозяина зовут Гров. Мы там больше не покупаем.

– Любопытно, позволит ли он мне походить по дому.

– Наверно, позволит, если вы ему скажете, кто вы такой.

Только вечером после ужина в учительской заговорили о том, что занимало всех. Зануда спросил:

– Ну, что вы думаете о нашем новом начальстве?

Они вспомнили разговор за обедом. Вряд ли назовешь его беседой – скорее, это был монолог. Перкинс говорил, не умолкая, очень быстро, речь его лилась плавным потоком, а голос был глубоким и звучным. Смеялся он странным коротким смешком, показывая ослепительно белые зубы. Им с трудом удавалось следить за ходом его речи, мысли его пере-

скакивали с одного предмета на другой, и связь между ними часто от них ускользала. Он говорил о педагогике, и в этом еще не было ничего удивительного, но его волновали модные немецкие теории, о которых они никогда и не слышали, да и слышать не хотели! Он говорил об античности, коснулся и археологии; мистер Перкинс побывал в Греции – однажды он провел на раскопках целую зиму. Им было непонятно, зачем все это учителю. Для того чтобы готовить детей к экзаменам?.. Он говорил о политике. Странно было слышать, что он сравнивает лорда Биконсфильда с Алкивиадом. Он говорил о мистере Гладстоне и самоуправлении для Ирландии. Да он просто либерал! Сердце у них упало. Он говорил о немецкой философии и о французской литературе. Разве у серьезного человека могут быть такие разнородные интересы?

Соне удалось выразить общее впечатление, и в такой форме, которая в их устах означала самый суровый приговор. Соня – наставник старшего третьего класса – был человек слабовольный; веки его были всегда полуприкрыты. Недостаточно крепкий для своего высокого роста, он двигался медленно, вяло и выглядел ужасно утомленным; кличка была очень меткой.

– Уж больно он увлекается, – сказал Соня.

Увлекаться было непристойно. Джентльменам увлекаться не подобало. Это напоминало об Армии спасения с ее пронзительными трубами и барабаном. Увлечения вели ко всяким новшествам. Мороз подирал по коже от одной мысли, что любезным их сердцу традициям угрожает неминуемая опасность. Они с дрожью взирали на будущее.

– Он еще больше похож на цыгана, чем прежде, – изрек кто-то, помолчав.

– Интересно, знали настоятель и капитул, что он радикал? – горько спросил другой.

Но разговор не клеился. Они были взволнованны.

Когда неделю спустя Деготь и Зануда шли в здание капитула на торжественный акт, Деготь заметил с обычной своей язвительностью:

– Мы с вами присутствуем на таких торжествах уже много лет. Любопытно, доживем ли мы до следующего?

Зануда был настроен еще более меланхолично, чем всегда.

– Если мне попадется теплое местечко, – сказал он, – я согласен и в отставку.

Глава 16

Прошел год, как Филип поступил в школу, но все старые учителя по-прежнему оставались на своих местах. Однако, несмотря на сопротивление педагогов, которое отнюдь не было менее упорным оттого, что скрывалось под мнимой готовностью поддерживать затеи нового начальства, в школе замечалось немало перемен. Классные наставники все еще обучали французскому языку в низших классах, но был приглашен новый учитель со степенью доктора филологии, полученной в Гейдельбергском университете, и свидетельством о трехлетнем пребывании во французском лицее; он преподавал французский в старших классах и немецкий – тем, кто предпочитал этот язык греческому. Другого учителя пригласили преподавать математику более основательно, чем было принято до сих пор. Ни тот, ни другой не принадлежали к духовному званию. Это была настоящая революция, и, когда они появились, старые учителя встретили их враждебно. Была оборудована лаборатория, стали проводить военные занятия; все утверждали, что самый характер школы менялся на глазах. Одному только Богу было известно, какие еще проекты витали в вихрастой голове мистера Перкинса! Школа была невелика по сравнению с другими закрытыми учебными заведениями; ее интернат мог вместить не больше двухсот учеников. Она примыкала к собору, и ей трудно было расширяться; за исключением одного дома, в котором жили учителя, все соседние здания были заняты соборным причтом; свободных участков для новых построек не было. Но мистер Перкинс разработал подробный план, который позволял школе удвоить свои размеры. Ему хотелось привлечь учеников из Лондона. Им пойдет на пользу общение с ребятами из Кента, а те в свою очередь поднаберутся у них городского лоска.

– Но это идет вразрез со всеми нашими традициями, – сказал Зануда, когда мистер Перкинс поделился с ним своими проектами. – Мы всегда старались избежать этой заразы – лондонских мальчишек.

– А, вздор! – сказал мистер Перкинс.

Никто еще не говорил классному наставнику, что он болтает вздор; Зануда уже обдумывал едкий ответ с намеком на торговлю нижним бельем, но тут мистер Перкинс со свойственной ему горячностью напал на него самым оскорбительным образом:

– Что касается соседнего дома… вот если бы вы женились, я бы убедил капитул надстроить несколько этажей – мы бы оборудовали там дортуары и классные комнаты, а ваша жена помогала бы вам следить за порядком.

Пожилой священник просто ахнул. Зачем ему жениться? Ему стукнуло пятьдесят семь лет, разве можно жениться в пятьдесят семь лет! Да не способен он в свои годы присматривать за целым домом. Он не хочет жениться. Если уж надо выбирать между женитьбой и сельским приходом, он лучше подаст в отставку. Все, чего он теперь хочет, – это тишины и покоя.

– Да я и думать не желаю о браке, – заявил он.

Мистер Перкинс уставился на него своими черными горящими глазами, а если в них и были веселые искорки, бедный Зануда этого не заметил.

– Жаль! А вы бы не могли жениться, чтобы сделать мне одолжение? Это бы мне сильно помогло убедить настоятеля и капитул перестроить ваш дом…

Но самым ненавистным новшеством мистера Перкинса была его манера время от времени проводить занятия в чужом классе. Каждый раз он просил об этом как об одолжении, отлично понимая, что отказать ему нельзя. Выражаясь словами Дегтя, то бишь мистера Тернера, новый порядок был унизителен для обеих сторон. Не предупредив заранее, директор, бывало, говорил после утренней молитвы одному из преподавателей:

– Вы ведь не откажетесь взять сегодня с одиннадцати часов шестой класс? Поменяемся классами, ладно?

Они не знали, было ли это принято в других школах, но, во всяком случае, в Теркенбэри так никогда не поступали. И последствия были самые неожиданные. Мистер Тернер – он стал первой жертвой – сообщил своему классу, что сегодня урок латыни будет вести директор, и под тем предлогом, что ученики, быть может, пожелают выяснить какие-нибудь вопросы, чтобы не попасть впросак перед директором, посвятил последние четверть часа урока истории на синтаксический разбор заданного на этот день отрывка из Ливия. Но, когда он вернулся в свой класс и заглянул в журнал, где мистер Перкинс ставил отметки, его ждал сюрприз: двум лучшим ученикам не повезло, тогда как другие, никогда прежде не отличавшиеся успехами, получили отличные отметки. Когда он спросил своего любимчика Элдриджа, как это надо понимать, тот угрюмо ответил:

– Мистер Перкинс вовсе и не спрашивал синтаксического разбора. Он спросил меня, что я знаю о генерале Гордоне.

Мистер Тернер уставился на него с изумлением. Ученики явно считали, что с ними поступили несправедливо, и он не мог не разделять их молчаливого недовольства. Как и они, он не понимал, что может быть общего между Ливием и генералом Гордоном. В конце концов он рискнул осведомиться об этом у директора.

– Элдридж был совсем сбит с толку, когда вы спросили его о генерале Гордоне, – сказал он директору, отваживаясь при этом хихикнуть.

Мистер Перкинс засмеялся.

– Я увидел, что они дошли до аграрных законов Гая Гракха, и поинтересовался, знают ли они что-нибудь об аграрных беспорядках в Ирландии. Но об Ирландии они знают только, что Дублин стоит на реке Лиффи. Вот мне и захотелось спросить, слыхали ли они о генерале Гордоне.

И тут обнаружился ужасающий факт: новый директор был просто одержимый, его интересовало общее развитие учащихся. Проверку зазубренных уроков он считал делом бесполезным и требовал сообразительности.

С каждым месяцем Зануда мрачнел все больше: его мучила мысль, что мистер Перкинс вот-вот потребует от него назначить срок женитьбы; к тому же его злило отношение директора к античной литературе. Без сомнения, тот был ее блестящим знатоком, к тому же он писал труд в лучших традициях классического образования – диссертацию о деревьях, упоминавшихся у латинских авторов. Но говорил он об этом легкомысленно, словно о пустячном занятии, вроде игры на бильярде, которой он увлекался в свободное время. А руководитель среднего третьего класса, Выскочка, становился с каждым днем все раздражительнее.

В его-то класс и попал Филип при поступлении в Королевскую школу. Преподобный Б. Б. Гордон был человеком, плохо приспособленным к учительской профессии: он отличался нетерпимостью и вспыльчивым характером. Не зная над собой никакой управы, имея дело с безответными малышами, он давно разучился сдерживаться. Он начинал трудовой день сердясь, а кончал его в бешенстве. Это был тучный человек среднего роста, с коротко подстриженными бесцветными и уже начавшими седеть волосами и маленькими щетинистыми усами. Его широкое одутловатое лицо с крошечными голубыми глазками было от природы красное, а во время частых приступов гнева оно темнело и становилось багровым. Ногти его были обкусаны до самого мяса: пока какой-нибудь мальчик, дрожа, разбирал предложение, он, сидя за столом, трясся от бешенства и грыз ногти. О его рукоприкладстве ходили, быть может, и преувеличенные слухи, но два года назад вся школа была встревожена, узнав, что отец одного из учеников, по фамилии Уолтерс, угрожает подать на Гордона в суд: он так сильно стукнул книгой мальчика по голове, что тот оглох и его пришлось взять из школы. Родители Уолтерса жили в Теркенбэри, и город был ужасно возмущен этим происшествием

– о нем даже упомянула местная газета. Но мистер Уолтерс был всего-навсего пивоваром, поэтому кое-кто сочувствовал и учителю. Остальные ученики, хоть и ненавидели классного наставника, но по причинам, известным только им самим, встали на его сторону: в отместку за то, что школьные дела были преданы гласности, они, как могли, отравляли существование младшему брату Уолтерса, который еще оставался в школе. Но мистер Гордон был на волосок от того, чтобы приобщиться к прелестям сельской жизни, и, испугавшись этого, никогда больше не бил учеников. Классные наставники лишились права бить мальчиков тростью по рукам, и Выскочка больше не мог отводить душу, колотя палкой по столу. Теперь он позволял себе только хватать мальчика за плечи и трясти его. Но он все еще наказывал шалунов и непокорных, заставляя их стоять с вытянутой рукой от десяти минут до получаса, и оставался все так же невоздержан на язык, как прежде.

Вряд ли можно вообразить менее подходящего преподавателя для такого робкого подростка, каким был Филип. Когда он поступал в среднюю школу, у него уже не было тех страхов, которые одолевали его, когда он впервые попал к мистеру Уотсону. Он знал многих ребят, учившихся вместе с ним в приготовительных классах. Теперь он был куда взрослее и инстинктивно понимал, что в большой толпе учеников его физический недостаток не так будет бросаться в глаза. Но с первого же дня мистер Гордон вселил в его сердце ужас: учитель быстро распознавал тех, кто его боится, и, казалось, поэтому у него возникла особая неприязнь к Филипу. Прежде Филип любил заниматься, но теперь он со страхом ожидал часов, которые надо было проводить в классе. Боясь неверно ответить и навлечь на себя бурю оскорблений, он предпочитал тупо молчать; когда приходила его очередь разбирать предложение, он бледнел и его начинало мутить от страха. Он был счастлив только в те часы, когда класс вел мистер Перкинс. Ему легко было удовлетворить требования директора, которого больше всего занимало общее развитие учеников, – ведь Филип не по возрасту много читал; часто мистер Перкинс, не получая ответа на поставленный им вопрос, останавливался возле Филипа и обращался к нему с улыбкой, от которой тот чувствовал себя на седьмом небе:

– Ну-ка, Кэри, расскажи им.

Хорошие отметки, которые ставил мальчику директор, еще больше разжигали неприязнь мистера Гордона. Как-то раз подошла очередь Филипа переводить; учитель сидел, пожирая его глазами и яростно грызя большой палец. Он кипел от ярости. Филип заговорил едва слышным голосом.

– Не бубни себе под нос! – крикнул учитель.

Филипу показалось, что слова застревают у него в горле.

– Давай! Давай! Давай!

С каждым разом учитель выкрикивал это слово все громче. Из головы Филипа улетучилось все, что он знал, и мальчик тупо уставился в книгу. Мистер Гордон захрипел:

– Если ты ничего не знаешь, так и скажи! Знаешь ты или нет? Слышал ты в прошлый раз разбор или нет? Чего ты молчишь? Говори, болван, говори!

Учитель изо всех сил ухватился за ручки кресла, словно для того, чтобы не броситься на Филипа. Ученики знали, что в прежние времена он нередко хватал учеников за горло и душил, пока они не посинеют. На лбу у него вздулись жилы, лицо потемнело и стало страшным. Он был в бешенстве.

Накануне Филип отлично знал весь отрывок, но теперь ничего не мог вспомнить.

– Я не знаю, – еле выговорил он.

– Как это ты не знаешь? Давай разберем каждое слово в отдельности. Тогда мы увидим, знаешь ты или нет.

Филип стоял бледный как смерть, весь дрожа, молча уставившись в книгу. Дыхание с хрипом вырывалось из груди учителя.

– А директор говорит, будто ты способный ученик. Не знаю, с чего это он взял. Вот вам его хваленое общее развитие! – Учитель дико захохотал. – Не понимаю, зачем тебя посадили в этот класс. Болван!

Ему нравилось это слово, и он прокричал:

– Болван! Болван! Колченогий болван!

Тут у него немного отлегло от сердца. Он заметил, что Филип густо покраснел. Он приказал ему принести «Черную книгу». Филип отложил своего Цезаря и молча вышел. «Черная книга» была зловещим фолиантом, куда заносились имена учеников и их прегрешения, и, если какое-нибудь имя попадало туда в третий раз, виновному грозила порка. Филип отправился к директору. Мистер Перкинс сидел за письменным столом.

– Пожалуйста, сэр, дайте мне «Черную книгу».

– Вон она, – ответил мистер Перкинс, кивнув головой в сторону. – Что ты там натворил?

– Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс бросил на него быстрый взгляд и, не добавив ни слова, продолжал работать. Филип взял книгу и пошел в класс. Через несколько минут после окончания урока он принес ее назад.

– Дай-ка мне взглянуть, – сказал директор. – Я вижу, мистер Гордон занес тебя в «Черную книгу» за «грубую дерзость». В чем дело?

– Не знаю, сэр. Мистер Гордон сказал, что я колченогий болван.

Мистер Перкинс поглядел на него снова. У него мелькнула мысль, не скрывается ли в словах мальчика насмешка, но тот был для этого слишком взволнован. Филип был бледен, в глазах его застыл отчаянный страх. Мистер Перкинс встал и положил на место «Черную книгу». Он взял пачку фотографий.

– Один из моих друзей прислал мне сегодня снимки Афин, – сказал он, словно ничего не случилось. – Посмотри, вот Акрополь.

Он принялся объяснять Филипу, что было на фотографиях. Он говорил, и Филипу казалось, что руины оживают у него на глазах. Мистер Перкинс показал ему театр Диониса и объяснил, как сидели зрители: прямо перед ними расстилалось синее Эгейское море. А потом директор вдруг сказал:

– Помню, когда я учился у него в классе, мистер Гордон называл меня «цыганским приказчиком».

И, прежде чем до поглощенного фотографиями Филипа дошел смысл его замечания, мистер Перкинс уже показывал вид Саламина и, водя по фотографии пальцем, ноготь которого был обведен черной каемкой, объяснял, где стояли греческие, а где – персидские корабли.

Глава 17

Следующие два года прошли для Филипа без всяких треволнений. Его изводили не больше, чем других, а физический недостаток, мешавший ему участвовать в играх, позволял оставаться в тени, и это его вполне устраивало. Его недолюбливали, он чувствовал себя очень одиноким. В старшем третьем классе целых два триместра его наставником был Соня. Вялые манеры и полуприкрытые веки придавали ему такой вид, словно ему наскучило все на свете. Свои обязанности он выполнял, но делал это с величайшей рассеянностью. Это был добряк, человек мягкий и недалекий. Он безгранично верил в честность своих учеников; для того чтобы они были правдивыми, нужно было, по его мнению, не допускать даже мысли, будто они могут солгать. «Просите, и дано будет вам», – цитировал он. В старшем третьем классе жилось легко. Было точно известно, какие вам достанутся стихи для разбора, и по шпаргалке, передававшейся из рук в руки, можно было за две минуты приготовить любой ответ; когда задавали вопрос, можно было держать на коленях раскрытую латинскую грамматику; Соня не видел ничего странного в том, что одна и та же несуразная ошибка попадалась в добром десятке ученических упражнений. Он не слишком верил в экзамены, так как заметил, что его ученики никогда не достигали на экзаменах таких успехов, как на классных занятиях; это было досадно, но в общем ничего не доказывало. В положенный срок ученики переходили в следующий класс, не научившись ровно ничему, кроме беспардонного обращения с правдой, что, пожалуй, могло пригодиться им в последующей жизни больше, чем умение бегло читать по-латыни.

Потом они попадали в руки Дегтя. Его настоящее имя было Тернер; этот коротышка с огромным брюхом, черной с проседью бородой и смуглой кожей был самым жизнерадостным из всех старых учителей. В своем облачении Тернер действительно напоминал нечто вроде бочки с дегтем; и хотя из принципа он наказывал всякого, с чьих уст срывалась эта кличка, заставляя переписывать по пятьсот строк греческих или латинских стихов, частенько на учительских вечеринках сам подшучивал над своим прозвищем. Он был наиболее светским человеком из учителей: вращался не только среди духовенства и чаще других обедал в чужой компании. Ученики считали его своим парнем. На каникулах он снимал черное облачение священника, и его встречали в Швейцарии в коротких спортивных штанах в клетку. Он любил распить бутылку вина и вкусно пообедать; однажды его видели в кафе «Ройял» с какой-то дамой – возможно, это была его родственница, – но с тех пор целые поколения школьников не сомневались, что он страшный повеса, и сообщали подробности, которые свидетельствовали об их безграничной вере в испорченность человеческой натуры.

По заверению мистера Тернера, целый триместр уходил у него на то, чтобы подтянуть учеников после их пребывания в старшем третьем классе; время от времени он позволял себе ехидный намек, показывавший полную осведомленность во всем, что творится в классе его коллеги. К обязанностям своим он относился добродушно. Учеников он считал малолетними преступниками, которые говорят правду лишь тогда, когда нет сомнений, что ложь будет разоблачена; у них свои понятия о чести, не распространяющиеся на их отношения с учителями, и меньше всего хлопот они вам причиняют, если уверены, что им это невыгодно. Он гордился своим классом и в пятьдесят пять лет с такой же настойчивостью добивался, чтобы его ученики занимали первые места на экзаменах, как и в начале школьной карьеры. Подобно многим тучным людям, он не умел сердиться подолгу, был вспыльчив, но отходчив, и его ученики вскоре поняли, что, несмотря на всю его воркотню, у него доброе сердце. Тупиц он не терпел, но не жалел сил на шалуна, если подозревал, что тот обладает живым умом. Он любил приглашать учеников к чаю, и они с неподдельным удовольствием принимали его приглашения, хоть и клялись, что, сидя с ним за столом, нельзя дорваться до сдобы

и пирожных: существовало убеждение, что его тучность – результат прожорливости, а прожорливость – следствие глистов.

Филипу жилось теперь куда привольнее; в школе было туго с помещениями, и отдельные комнаты для занятий предоставлялись только ученикам старших классов. Спал он по-прежнему в большом зале, который служил одновременно столовой и помещением, где младшие ученики готовили уроки; правда, близкое соседство других учеников было ему не очень приятно. Временами ему надоедало вечно быть на людях и хотелось остаться одному. Тогда он отправлялся в дальнюю прогулку. Невдалеке средь зеленых полей бежала речка; по обе ее стороны росли подстриженные деревья; сам не понимая почему, Филип испытывал радость, бродя по ее берегам. Устав, он ложился ничком в траву и наблюдал за возней пескарей и головастиков. Странное удовольствие доставляли ему и прогулки в школьном парке. Летом на лужайке происходили спортивные игры, но в другие времена года там было тихо; лишь изредка встретишь гуляющих мальчиков да какого-нибудь прилежного ученика, который с отсутствующим взглядом на ходу заучивает что-нибудь наизусть. На больших вязах жили грачи; они оглашали воздух печальными криками. По одну сторону стоял собор со своей огромной башней, и Филип, который еще понятия не имел о красоте, испытывал, глядя на него, безотчетный восторг. Когда ему и еще троим ученикам отвели комнату для занятий (это была крошечная квадратная комнатка, откуда были видны городские трущобы), он купил фотографию собора и прибил ее над своим столом. С новым интересом стал он глядеть на вид, открывавшийся из окна четвертого класса: на тщательно подстриженный газон и высокие деревья с пышными густыми кронами. Пейзаж пробуждал у него в сердце незнакомое чувство – он сам не знал, была ли то печаль или радость. Это рождалось в нем чувство прекрасного. Происходили с Филипом и другие перемены. Голос его ломался, стал непослушным, и порой из его горла вырывались какие-то странные звуки.

Он стал готовиться к конфирмации; занятия происходили в кабинете директора сразу же после чая. Набожность Филипа не выдержала испытания временем, и он уже давно перестал читать по вечерам Библию; но теперь под влиянием мистера Перкинса и какого-то нового беспокойства в крови старые чувства вернулись вновь, и он горько упрекал себя в отступничестве. Перед его мысленным взором пылала геенна огненная. Ведь, если бы смерть настигла его в те дни, когда он был ничем не лучше язычника, его душу ожидала бы неминуемая гибель; он непреложно верил в вечные муки, верил в них куда больше, чем в вечное блаженство; содрогаясь, он думал об опасностях, которым себя подвергал.

С того дня, когда мистер Перкинс так ласково заговорил с ним и заставил забыть о нанесенной ему жгучей обиде, Филип стал питать к директору собачью преданность. Он постоянно ломал себе голову, как бы ему угодить. Он дорожил малейшим знаком одобрения, который тот ненароком выказывал. И, когда он стал посещать малолюдные собрания в директорском доме, он был готов душу отдать своему кумиру. Взор его был прикован к горящим глазам мистера Перкинса, рот полуоткрыт, шея вытянута – он старался не упустить ни единого слова. Будничность обстановки придавала беседе еще большую значительность. Нередко наставник, сам охваченный молитвенным восторгом, отстранял лежавшую перед ним книгу и, прижав руки к сердцу, словно для того, чтобы умерить его биение, говорил о тайнах религии. Филип не всегда его понимал, но он и не старался понять – ему почему-то казалось, что тут довольно одного чувства. Ему чудилось, что директор с его черной лохматой головой и бледным лицом похож на одного из пророков Израиля, которые не боялись бросать вызов царям; а когда он думал о Христе, тот представлялся ему таким же темноглазым, с таким же изможденным лицом.

Мистер Перкинс относился к этой своей обязанности с величайшим рвением. Тут он не допускал метких острот, побуждавших других учителей подозревать его в легкомыслии.

Несмотря на свою занятость, он для всего находил время и успевал побеседовать с каждым из учеников, готовившихся к конфирмации, хотя бы по пятнадцать – двадцать минут.

Ему хотелось заставить их почувствовать, что они совершают первый важный сознательный шаг в своей жизни; он пытался проникнуть в их души, мечтал внушить им свою собственную пламенную веру. Несмотря на робость Филипа, он чувствовал, что в нем может загореться такая же страстная вера, как у него. Ему казалось, что в мальчике сильно религиозное чувство. Как-то раз он неожиданно отвлекся от предмета их беседы.

– А ты задумывался над тем, кем ты будешь, когда вырастешь? – спросил он.

– Дядя хочет, чтобы я стал священником, – сказал Филип.

– А ты сам?

Филип отвел глаза. Ему стыдно было в этом сознаться, но он считал себя недостойным.

– Никакая другая жизнь не принесет тебе столько радости, – продолжал директор. – Хотел бы я, чтобы ты это понял. Богу может служить всякий, но мы, духовенство, ближе к нему, чем другие. Я не хочу тебя понуждать, но, если ты примешь такое решение – вот тут, сию же минуту, – ты сразу же испытаешь блаженство, и это чувство уже никогда тебя не покинет.

Филип ничего не ответил, но директор прочел в глазах мальчика, что слова его упали на благодатную почву.

– Если ты будешь прилежно работать и дальше, ты скоро станешь лучшим нашим учеником и можешь рассчитывать на стипендию по окончании школы. У тебя есть собственные средства?

– Дядя говорит, что, когда мне исполнится двадцать один год, у меня будет ежегодно сто фунтов.

– Да, ты богат. У меня не было ни гроша.

Директор помедлил; он машинально чертил карандашом на лежавшей перед ним промокательной бумаге; потом он продолжал:

– Боюсь, что у тебя не будет большого выбора. Тебе ведь не годится профессия, требующая физического напряжения.

Как и всегда, когда заходила речь о его хромоте, Филип покраснел до корней волос. Мистер Перкинс глядел на него в раздумье.

– А ты не слишком ли чувствителен к своему несчастью? Тебе ни разу не приходило в голову поблагодарить за него Бога?

Филип быстро взглянул на него. Губы его сжались. Он вспомнил, как месяцами, веря тому, что ему говорили, молил Бога об исцелении, – ведь исцелил же он прокаженного и сделал слепого зрячим.

– Пока дух твой мятежен, ты будешь испытывать лишь чувство стыда. Но если ты поймешь, что отмечен Господом, что крест твой возложен на тебя только потому, что у тебя сильные плечи, – тогда твое увечье станет для тебя источником не горести, а утешения.

Он увидел, что этот разговор тяготит мальчика, и отпустил его.

Но Филип долго думал о том, что сказал ему директор; мысль о предстоящей церемонии наполняла его мистическим восторгом. Дух его, казалось, освободился от плотских уз, и он вступает в новую жизнь. Он стремился к совершенству со всей страстностью своей души. Ему хотелось целиком посвятить себя служению Богу, и он твердо решил принять духовный сан. Когда великий день настал, Филип едва владел собой от страха и радости: он был взволнован до глубины души всеми приготовлениями, книгами, которые прочел, и, главное, тем, что так пылко внушал ему директор. Мучила его только одна мысль. Он знал, что ему на глазах у всех придется пройти через алтарь, и не только вся школа, собранная на богослужение, но и посторонние – прихожане и родители тех мальчиков, которые вместе с ним впервые шли к причастию, – увидят, что он хромой. Но, когда наступила решающая

минута, Филип вдруг почувствовал, что с радостью примет любое унижение; ковыляя по проходу, такой маленький и ничтожный под этими величественными сводами, он в мыслях приносил свое уродство на алтарь Всевышнего, который его возлюбил.

Глава 18

Однако Филип не мог долго жить в разреженном воздухе горных вершин. То, что случилось с ним, когда он впервые был охвачен религиозным экстазом, повторилось снова. Именно потому, что он так остро ощущал всю красоту христианства, а в сердце горела ослепительным алмазом жажда самопожертвования, силы его не выдержали такого духовного подъема. Неистовая страсть изнурила и опустошила его душу. Он стал забывать, что находится в присутствии Бога, недавно всесильного и вездесущего, а религиозные обряды, которые он все еще аккуратно выполнял, стали пустой формальностью. Сперва он упрекал себя за это новое отступничество, и страх перед геенной огненной доводил его до исступления, но пламенная вера умерла, и постепенно им завладели совсем другие интересы.

Друзей у Филипа было мало. Привычка к чтению отдаляла его от людей; одиночество стало для него такой потребностью, что, побыв некоторое время в обществе других ребят, он чувствовал усталость и скуку. Он гордился знаниями, почерпнутыми из множества книг, мысль его не дремала, и он не умел скрывать презрения к глупости своих товарищей. А те обвиняли его в зазнайстве; поскольку его превосходство проявлялось только в таких областях, которые казались им никому не нужными, они ядовито спрашивали, чего это он задирает нос. У Филипа проснулось чувство юмора, и он обнаружил, что умеет сказать колкость, задеть за живое собеседника; он говорил колкости, поскольку его это забавляло, не задумываясь о том, как больно они ранят, и очень обижался, когда видел, что его жертвы платят ему активной неприязнью. Унижения, которым он подвергался, когда пришел в школу, научили его чуждаться своих однокашников; от этого он уже никогда не мог отвыкнуть и так и остался застенчивым и молчаливым. Но, хотя он и делал все, чтобы оттолкнуть от себя товарищей, он всей душой хотел привлечь к себе их сердца, мечтал о популярности, которая другим дается легко. Такими счастливчиками Филип втихомолку восхищался, и, хотя охотно над ними подшучивал и отпускал в их адрес язвительные замечания, он отдал бы все на свете, чтобы быть на их месте. Впрочем, он с радостью поменялся бы местами с самым тупым учеником в школе, лишь бы у него были здоровые ноги. У Филипа возникла странная привычка. Он представлял себя одним из тех мальчиков, которые ему особенно нравились; он как бы переселял свою душу в чужое тело, говорил чужим голосом и смеялся чужим смехом; воображал, что делает все то, что́ в действительности делал другой. Фантазия его работала так живо, что на какой-то миг он и в самом деле переставал быть самим собой. Таким способом он отвоевывал себе минуты воображаемого счастья.

В начале рождественского триместра, сразу же после конфирмации, Филипа перевели в другую комнату для занятий. Одного из мальчиков, сидевших с ним рядом, звали Роз. Он учился в одном классе с Филипом, и тот всегда смотрел на него с завистливым восхищением. Никто не назвал бы его красивым: ширококостый и большерукий, он был неуклюж и обещал стать очень высоким, но у него были прелестные глаза, и, когда он смеялся (а смеялся он беспрестанно), вокруг них появлялись забавные морщинки. Он не был ни умен и ни глуп, но занимался неплохо, особенно охотно – спортом. Любимец учителей и учеников, он, в свою очередь, относился одинаково хорошо ко всем.

Перейдя в новую комнату, Филип поневоле заметил, что другие ученики, занимавшиеся тут уже скоро год, встретили его с прохладцей. Он нервничал, чувствуя себя нежеланным гостем, но уже научился скрывать свои чувства, и мальчики сочли его тихоней и бирюком. С Розом Филип был особенно скрытен и немногословен – он, как и другие, не мог не поддаться его обаянию. То ли потому, что Роз, сам того не сознавая, любил привлекать к себе людей, то ли просто по доброте сердечной, но он втянул Филипа в свою компанию. Как-то раз он неожиданно предложил Филипу пройтись с ним на футбольное поле. Филип вспыхнул.

– Я не могу так быстро ходить, как ты, – сказал он.

– Ерунда. Пошли.

Когда они собрались идти, какой-то мальчик просунул в комнату голову и позвал Роза погулять.

– Не могу, – ответил тот. – Я уже обещал Кэри.

– Не обращай на меня внимания, – поспешно сказал Филип. – Иди, я не возражаю.

– Ерунда, – сказал Роз.

Он посмотрел на Филипа своим добродушным взглядом и рассмеялся. Филип почувствовал, как у него дрогнуло сердце.

Дружба их росла с той быстротой, с какой она растет только у мальчишек, и скоро они стали неразлучны. Их товарищи удивлялись этой внезапной близости и спрашивали Роза, что́ он нашел в Филипе.

– Сам не знаю, – отвечал тот. – Да он вовсе уж и не такой противный.

Вскоре все привыкли к тому, что они входят в часовню под руку или, болтая, бродят по парку; там, где был один из них, всегда можно было найти и другого; словно признав его право собственности, ребята, искавшие Роза, обращались к Кэри. Сперва Филип вел себя сдержанно. Он не позволял себе целиком отдаться переполнявшему его чувству восторженной гордости, но постепенно недоверие к судьбе уступило место необузданной радости. Он считал, что Роз – самый замечательный парень на свете. Теперь он уже ни во что не ставил свои книги: можно ли было корпеть над ними, когда его занимало нечто куда более важное! Приятели Роза заходили к ним на чашку чая или просто посидеть от нечего делать – Роз любил общество и любил подурачиться, – и все сошлись на том, что с Филипом можно ладить. Филип был счастлив.

Перед разъездом на каникулы в конце триместра они с Розом условились, какими поездами вернутся в Теркенбэри, чтобы встретиться на вокзале и выпить в городе чашку чая, прежде чем отправиться в школу. Филип ехал домой с тяжелым сердцем. Мысль о Розе ни на минуту не оставляла его во время каникул, и он не переставал придумывать, что они будут делать в следующем триместре. Дома он скучал; в последний день дядя задал ему привычным шутливым тоном привычный вопрос:

– Ну, ты рад, что возвращаешься в школу?

И Филип весело ответил:

– Еще как!

Чтобы не разминуться с Розом на вокзале, он выехал раньше, чем обычно, и целый час ждал его на платформе. Когда пришел поезд из Февершема, где, как он знал, у Роза была пересадка, он со всех ног бросился его встречать. Но Роза не было. Филип узнал у носильщика, когда приходит следующий поезд, и снова стал ждать, но его опять постигло разочарование; продрогнув и проголодавшись, он поплелся в школу кратчайшим путем – переулками, мимо городских трущоб. Он нашел Роза в комнате для занятий: ноги его были задраны на каминную полку, и он весело болтал с десятком приятелей, рассевшихся как попало. Роз шумно поздоровался с Филипом, но у того вытянулось лицо: ему стало ясно, что Роз совсем забыл об условленной встрече.

– Послушай, отчего ты так поздно? – спросил Роз. – Я уже боялся, что ты никогда не приедешь.

– Ведь ты же был на станции в половине пятого, – сказал Филипу один из мальчиков. – Я тебя видел, когда приехал.

Филип слегка покраснел. Ему не хотелось, чтобы Роз узнал, какого он свалял дурака, дожидаясь его на вокзале.

– Мне надо было подождать одну нашу знакомую, – тут же выдумал он. – Меня попросили ее проводить.

Но он немножко надулся, сидел молча и односложно отвечал, когда к нему обращались. В душе он решил объясниться с Розом, как только они останутся одни. Но, когда гости разошлись, Роз сразу же подошел к нему и присел на ручку его кресла.

– Послушай, вот здорово, что мы и в этом триместре будем заниматься в одной комнате, – сказал Роз. – Правда хорошо?

Казалось, он неподдельно рад их встрече, и досада Филипа улетучилась. Они принялись горячо обсуждать тысячу занимавших их предметов, словно расстались пять минут назад.

Глава 19

Поначалу Филип был слишком благодарен Розу за его дружбу, чтобы предъявлять к нему какие-нибудь требования. Он был всем доволен и радовался жизни. Но вскоре его начали возмущать приятельские отношения Роза со всеми без разбору: он не хотел делить его дружбу ни с кем и стал считать своим законным правом то, что раньше принимал как дар. Он ревниво следил за Розом и его приятелями и, хотя понимал, как это глупо, делал ему порой язвительные замечания. Если Роз, дурачась, проводил часок в другой комнате, Филип встречал его с надутым видом и дулся весь день, еще пуще страдая оттого, что Роз либо не замечал его дурного настроения, либо намеренно не обращал на это внимания. Нередко Филип, сознавая собственную глупость, нарочно затевал ссору, и они не разговаривали друг с другом целыми днями. Но Филип не мог долго сердиться на друга и, даже будучи уверен, что прав, смиренно просил у него прощения. После этого они опять на неделю становились такими друзьями, что водой не разольешь. Но безоблачное счастье было уже позади, и Филип видел, что Роз часто гуляет с ним лишь по старой привычке или не желая его сердить; у них уже не находилось так много тем для разговоров, как прежде, и Роз все чаще скучал. Филип чувствовал, что друга стала раздражать его хромота.

К концу триместра несколько мальчиков заболело скарлатиной, поднялись разговоры о том, чтобы распустить школу во избежание эпидемии, но больных изолировали, а новых случаев не было; решили, что вспышку удалось погасить. Одним из тех, кто заболел, был Филип. Пасхальные каникулы он провел в больнице, а в начале лета его отправили домой подышать свежим воздухом. Несмотря на заверения врачей, что мальчик больше не заразен, священник встретил его недоверчиво; он считал, что доктор поступил весьма неделикатно, послав племянника поправляться к родным, и впустил его в дом только потому, что мальчику некуда было деваться.

Филип вернулся в школу в середине триместра. Он позабыл о ссорах с Розом и помнил только, что это его закадычный друг. Он знал, что вел себя глупо, и впредь решил быть умнее. Пока он болел, Роз присылал ему записочки, которые неизменно заканчивались словами: «Возвращайся скорее». Филип думал, что Роз ждет его возвращения с таким же нетерпением, с каким сам он ждал встречи с Розом.

Выяснилось, что смерть от скарлатины одного из шестиклассников вызвала перемещения из одной комнаты для занятий в другую, и Филип уже не попал в одну комнату с Розом. Для него это было жестоким разочарованием. Все же тотчас по приезде Филип ураганом ворвался к своему другу. Тот сидел за столом – он готовил уроки с мальчиком по фамилии Хантер – и сердито огрызнулся на вошедшего:

– Кого там черт несет? – Увидев Филиппа, он сказал: – А, это ты…

Филип остановился в смущении.

– Я хотел узнать, как ты поживаешь.

– Мы сейчас занимаемся.

В разговор вмешался Хантер:

– Когда ты вернулся?

– Пять минут назад.

Они сидели и глядели на него, всем своим видом показывая, что он им мешает, и с явным нетерпением ждали его ухода. Кровь бросилась в лицо Филипу.

– Я пойду, – сказал он Розу. – Загляни ко мне, когда освободишься.

– Ладно.

Филип закрыл за собой дверь и заковылял в свою комнату. Он был страшно обижен. Роз ни капли не обрадовался встрече с ним – напротив, он как будто даже был раздосадован.

Можно подумать, что их связывает только то, что они одноклассники. Филип стал ждать в своей комнате, не выходя оттуда ни на минуту, но его друг так и не появился; на следующее утро, когда Филип шел на молитву, он встретил Роза и Хантера – они бежали, держась за руки. То, чего он не увидел своими глазами, ему рассказали другие. Он не подумал о том, что три месяца – немалый срок в жизни школьника, и если сам он провел их в одиночестве, то Роз жил среди других ребят. Хантер занял его место. Филип заметил, что Роз молча его избегает. Но Филип был не из тех, кто мирится со своим положением молча: ему надо было объясниться; выбрав минуту, когда Роз был один, он зашел к нему.

– Можно к тебе? – спросил он.

Роз растерялся, и это настроило его против Филипа.

– Заходи, если хочешь, – ответил он.

– Очень любезно с твоей стороны, – насмешливо заметил Филип.

– Чего тебе надо?

– Почему ты себя так подло ведешь?

– Не будь идиотом, – сказал Роз.

– Удивляюсь, что ты нашел в Хантере?

– Это уж мое дело.

Филип опустил глаза. Он не мог заставить себя сказать то, что было у него на сердце. Он боялся унижения. Роз встал со стула.

– Мне пора в спортивный зал, – сказал он.

Когда Роз подошел к двери, Филип все-таки заставил себя сказать:

– Послушай, Роз, не будь такой скотиной.

– А пошел ты к черту!

Роз хлопнул дверью, и Филип остался один. Он дрожал от бешенства. Вернувшись в свою комнату, он стал перебирать в памяти каждое слово их разговора. Теперь он ненавидел Роза, мечтал отомстить ему побольнее; Филипу приходили в голову язвительные слова, которые он мог бы бросить ему в лицо. Угрюмо размышляя о крушении их дружбы, он воображал, что другие только об этом и говорят. Со своей обостренной чувствительностью он читал насмешку и любопытство в глазах сверстников, хотя тем и дела до него не было. Ему казалось, что он слышит, как они перешептываются: «В конце концов чего ж тут удивляться? Странно, как он только терпел этого Кэри. Такое ничтожество!»

Желая показать свое безразличие, он завязал горячую дружбу с неким Шарпом, которого он видеть не мог. Это был мальчишка из Лондона, неотесанный и неуклюжий, с пробивающимися усиками и сросшимися на переносице бровями. У него были мягкие руки и чересчур учтивые для его лет манеры. В речи его слышался уличный жаргон. Он был слишком ленив, чтобы заниматься спортом, и проявлял недюжинную изобретательность, выдумывая, как бы увильнуть от тех спортивных занятий, которые считались обязательными. Как ученики, так и учителя относились к нему с какой-то неприязнью, но Филип теперь из упрямства искал его общества. Через полгода Шарп собирался уехать на год в Германию. Он ненавидел школу и считал пребывание в ней злом, которое приходилось терпеть, пока он не вырастет и не начнет настоящую жизнь. Целью его вожделений был Лондон, и он рассказывал немало историй о своих похождениях во время каникул. В том, что он говорил – вкрадчивым, низким голосом, – слышался неясный гул ночных улиц Лондона. Филип слушал его с увлечением, но и с гадливостью. Его живое воображение рисовало ему толпу у театральных подъездов, яркие огни дешевых ресторанов, ночные бары, где полупьяные мужчины, сидя на высоких табуретах, болтают с официантками, темный лондонский поток, таинственно катящийся под уличными фонарями в погоне за развлечениями. Шарп снабжал Филипа бульварными романами, которыми тот с дрожью зачитывался в своей спальне.

Однажды Роз сделал попытку к примирению. Его добродушной натуре претила всякая вражда.

– Послушай, Кэри, – сказал он, – не будь же идиотом. Почему ты со мной не здороваешься?

– Чего ты от меня хочешь? – спросил Филип.

– Не понимаю, почему ты не желаешь со мной разговаривать?

– Ты мне просто надоел, – сказал Филип.

– Ну и пожалуйста!

Роз передернул плечами и отошел. Как и всегда в минуты волнения, Филип смертельно побледнел и сердце его бешено заколотилось. Когда Роз ушел, он почувствовал себя глубоко несчастным. Филип и сам не знал, зачем он так ответил. Ведь за дружбу с Розом он отдал бы все на свете. Ему было так тяжело, что они поссорились, и теперь, причинив другу боль, Филип страшно об этом жалел. Но в ту минуту он не владел собой. Казалось, его толкал какой-то демон, понуждавший его против воли говорить колкости, хотя в душе ему хотелось пожать Розу руку и сделать все, чтобы с ним помириться. Но желание причинить боль было слишком велико. Ему так хотелось отомстить за перенесенные страдания и унижения! Победила гордыня, а может, и безрассудство: ведь он знал, что для Роза все это глубоко безразлично, а себя самого он обрек на жестокие мучения. У него мелькнула мысль пойти к Розу и сказать: «Послушай, мне жаль, что я держал себя как скотина. Я ничего не мог с собой поделать. Давай помиримся».

Но он знал, что никогда не сможет на это решиться. Он боялся, что Роз станет над ним издеваться. Филип злился на самого себя, и, когда немного погодя к нему пришел Шарп, он воспользовался первым попавшимся поводом, чтобы с ним поссориться. Филип обладал дьявольской способностью найти у ближнего больное место и сказать ему то, что заденет его за живое. Но последнее слово осталось за Шарпом.

– Я слышал, как Роз только что говорил о тебе с Меллором, – сказал он. – Меллор его спросил: «Почему же ты не двинул его как следует? Он бы живо научился, как себя вести». А Роз ответил: «Не хотелось. Ну его, калеку проклятого».

Филип побагровел. Он ничего не смог ответить: что-то подступило к его горлу, и он чуть не задохнулся.

Глава 20

Филип перешел в шестой класс, но теперь он ненавидел школу всей душой; его больше не подгоняло честолюбие, и ему стало все равно, хорошо или плохо он учится. По утрам он просыпался с тяжелым сердцем; впереди был еще один безрадостный день. Ему надоело делать все по указке; запреты раздражали его не потому, что были неразумны, а потому, что это были запреты. Он жаждал свободы. Он устал от бесконечных повторений того, что уже знал, ему надоело долбить из-за непонятливости какого-нибудь тупицы то, что сам он понимал с полуслова.

У мистера Перкинса можно было и заниматься и нет – как угодно. Он был в одно и то же время усердным педагогом и человеком рассеянным. Шестой класс помещался в реставрированной части старого аббатства, там было большое готическое окно; пытаясь скоротать время, Филип рисовал его снова и снова; иногда он набрасывал по памяти высокую башню собора или ворота парка. У него обнаружились способности к рисованию. В молодости тетушка Луиза писала акварелью; у нее сохранилось несколько альбомов с эскизами церквей, старинных мостов и живописных коттеджей. Их часто показывали гостям, приглашенным к священнику на чашку чая. Однажды на Рождество тетушка Луиза подарила Филипу ящик с красками, и он стал копировать ее акварели. У него это получалось лучше, чем можно было ожидать, и постепенно он стал делать собственные наброски. Миссис Кэри его поощряла. Это был верный способ отвлечь его от шалостей, а к тому же его рисунки могли пригодиться для благотворительных базаров. Две или три его акварели вставили в рамки и повесили в спальне.

Как-то раз по окончании утренних уроков мистер Перкинс остановил Филипа, когда тот выходил из класса.

– Я хочу поговорить с тобой, Кэри.

Филип ждал. Мистер Перкинс молча теребил бороду тонкими пальцами и глядел на него. Казалось, он обдумывал, что́ сказать.

– Что с тобой, Кэри? – неожиданно спросил он.

Филип, вспыхнув, кинул на него взгляд. Но теперь он знал его хорошо и поэтому молчал, ожидая, что будет дальше.

– Последнее время я тобою недоволен. Ты стал ленив и невнимателен. И как будто потерял всякий интерес к занятиям. Учишься ты из рук вон плохо.

– Извините, сэр, – сказал Филип.

– И больше ты ничего не скажешь в свое оправдание?

Филип угрюмо потупил глаза. Как объяснить, что все ему до смерти надоело?

– Знаешь, в этом триместре дела твои пошли хуже. Я не смогу выставить тебе в табель хороших отметок.

Филип подумал: если бы директор знал, как отнесутся дома к его табелю! Почта обычно доставляла табель к завтраку, мистер Кэри бросал на него безразличный взгляд и передавал Филипу.

– Вот твой табель. Почитай-ка, что там написано, – говорил он, перелистывая каталог букиниста.

Филип принимался читать.

– Ну как, табель у тебя хороший? – спрашивала тетушка Луиза.

– Не такой хороший, какого я заслуживаю, – с улыбкой отвечал Филип.

– Посмотрю потом, вот возьму только очки, – говорила тетушка.

Но после завтрака появлялась Мэри-Энн; она сообщала, что пришел мясник, и тетушка забывала о табеле…

А мистер Перкинс продолжал:

– Ты меня огорчаешь. И я ничего не понимаю. Я ведь знаю, на что ты способен, если захочешь, но ты, кажется, ничего больше не хочешь. Я думал назначить тебя в следующий триместр старостой, но, пожалуй, придется воздержаться.

Филип вспыхнул. Мысль, что его обойдут, была ему неприятна. Он сжал губы.

– И вот еще что. Пора тебе подумать о стипендии. Ты ничего не получишь, если не начнешь заниматься всерьез.

Нотация разозлила Филипа. Он сердился на директора и на самого себя.

– Да я и не собираюсь в Оксфорд, – сказал он.

– Почему? Мне казалось, что ты решил принять сан.

– Я передумал.

– Почему?

Филип не отвечал. Мистер Перкинс стоял в своей всегдашней чуть-чуть нелепой позе, словно фигура с картины Перуджино, задумчиво расчесывая пальцами бороду. Он вглядывался в Филипа, будто стараясь его понять, а потом внезапно отпустил.

Но директора явно не удовлетворил этот разговор; как-то вечером, неделю спустя, когда Филип зашел к нему в кабинет с какими-то бумагами, он его возобновил. Но теперь он принял другой тон: он беседовал с Филипом не как с учеником, а как с равным. Казалось, ему безразлично, что Филип плохо учится и что у него мало шансов превзойти своих прилежных соперников и добиться стипендии для поступления в Оксфорд: куда важнее, что он изменил свои жизненные планы. Мистер Перкинс поставил себе задачей снова пробудить в нем желание принять сан. С великим искусством он постарался разбередить его душу; ему это было нетрудно, потому что он и сам был по-настоящему взволнован. Его глубоко огорчало, что Филип изменил свое решение, он и в самом деле полагал, что тот неизвестно ради чего отказывается от своего счастья. Голос его звучал очень убедительно. Филип быстро заражался чужим волнением: несмотря на внешнее спокойствие, он был легко возбудим; лицо отчасти от природы, а отчасти в силу выработанной в школе привычки редко выдавало его чувства, разве только краснело, но слова учителя не на шутку его растрогали. Он был благодарен мистеру Перкинсу за интерес к его судьбе и каялся, что доставил ему огорчение. Ему льстило, что мистер Перкинс заботится о нем: директору ведь приходится думать о целой школе. В то же время что-то внутри его – словно какой-то другой человек, стоявший с ним рядом, – отчаянно твердило: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Он чувствовал, что сдается, и уже не мог совладать с нараставшей слабостью – она поднималась, как вода в пустой бутылке, которую держат над полной миской. Сжав зубы, он в душе повторял снова и снова: «Не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Наконец мистер Перкинс положил ему руку на плечо.

– Я не желаю тебя принуждать, – сказал он. – Ты должен решать сам. Молись, чтобы Господь всемогущий помог и наставил тебя.

Когда Филип вышел из директорского дома, моросил дождь. Под аркадой, которая вела на школьный двор, не было ни души, молчали даже грачи на старых вязах. Филип медленно обошел двор. Он разгорячился, и дождь приятно освежал ему лицо. Обдумав все, что сказал мистер Перкинс – теперь, когда он не чувствовал над собой власти этой страстной натуры, он мог размышлять спокойно, – Филип радовался, что не уступил.

В темноте он едва различал огромную махину собора; он возненавидел его за томительно долгие богослужения, на которых его заставляли присутствовать. Хорал длился бесконечно, и, пока его пели, приходилось стоять до изнеможения; во время монотонной проповеди, слов которой все равно нельзя было разобрать, ноги затекали до судорог – полагалось сидеть, не шевелясь, когда так хотелось двигаться. Филип вспомнил два воскресных богослужения в Блэкстебле. Церковь была холодная и голая, от прихожан пахло помадой и крах-

мальным бельем. Утреннюю проповедь произносил дядя, вечернюю – его помощник. С годами Филип все лучше узнавал дядю; в голове прямого и нетерпимого мальчика не укладывалось, как можно искренне проповедовать людям одно, а самому поступать совсем подругому. Обман его возмущал. Дядя был слабовольный эгоист; главная его цель в жизни – избежать какого бы то ни было беспокойства.

Мистер Перкинс говорил о том, как прекрасна жизнь, посвященная служению Всевышнему. Филип знал жизнь духовенства в том уголке Восточной Англии, где он рос. Взять, например, священника из Уайтстона (этот приход лежал неподалеку от Блэкстебла): он был холостяком и, чтобы скоротать свой досуг, занялся сельским хозяйством. Местная газета постоянно сообщала о его тяжбах: то он судился с батраками, которым не хотел платить, то с торговцами, которых обвинял в мошенничестве; о его скупости ходили скандальные слухи – говорили, что он морит голодом собственных коров; собирались принимать против него какие-то меры. Или взять священника из Ферна – представительного мужчину с окладистой бородой: от него ушла жена, обвинив его в жестокости, она взбудоражила всю округу рассказами о его пороках. Священника из Сарля – маленького местечка у самого моря – можно было каждый вечер застать в трактире в двух шагах от дома; церковные старосты обратились к мистеру Кэри за советом, как с ним быть. Ни у одного из этих служителей господних не было никого, с кем бы можно было перемолвиться словом, кроме местных крестьян и рыбаков; в долгие зимние вечера, когда дул ветер, тоскливо завывая в голых ветвях деревьев, их окружало лишь пустынное однообразие вспаханных полей; уделом их были бедность и бессмысленный труд; любой изъян характера развивался без всякой помехи, и в конце концов они становились провинциальными чудаками. Филип знал все это, но со свойственной молодым нетерпимостью не находил оправдания для этих людей. Он содрогался при одной мысли о подобном существовании. Ему хотелось вырваться в необъятный мир.

Глава 21

Мистер Перкинс вскоре убедился, что слова его не подействовали, и до поры до времени махнул на Филипа рукой. Он дал ему в табеле уничтожающий отзыв. Когда табель пришел по почте и тетя Луиза спросила, хорошие ли в нем отметки, Филип весело ответил:

– Хуже некуда.

– Вот как? – откликнулся священник. – Надо бы взглянуть, что там написано.

– Стоит ли мне дальше оставаться в Теркенбэри? Лучше, пожалуй, я съезжу в Германию.

– Что это тебе пришло в голову? – спросила тетя Луиза.

– А разве это не отличная мысль?

Шарп уже бросил Королевскую школу и писал Филипу из Ганновера. Он зажил настоящей жизнью, и мысль об этом вносила еще больше смятения в душу Филипа. Он чувствовал, что не вынесет еще одного года взаперти.

– Но тогда ты не получишь стипендии.

– У меня все равно нет никаких шансов. Да мне и не особенно хочется поступать в Оксфорд.

– А как же ты станешь священником? – с огорчением воскликнула тетя Луиза.

– Я уже давно отказался от этой мысли.

Миссис Кэри испуганно на него взглянула, а потом, привычно взяв себя в руки, налила мужу еще чашку чаю. Наступила тишина. Минуту спустя Филип увидел, как по ее щекам медленно покатились слезы. Сердце его сжалось при мысли, что он причинил ей боль. В узком черном платье, сшитом местной портнихой, с морщинистым личиком и усталыми выцветшими глазами, с седыми волосами, завитыми в легкомысленные кудряшки по моде ее молодости, она казалась немножко курьезной, но такой трогательной. Филип заметил это впервые.

Позже, когда священник со своим помощником удалился в кабинет, Филип обнял ее за талию.

– Мне очень жалко, что я тебя огорчил, – сказал он ей. – Но зачем мне быть священником, если у меня к этому нет настоящего призвания?

– Я ужасно огорчена, Филип, – простонала она. – Я ведь так об этом мечтала. Надеялась, что ты будешь помощником дяди, а потом, когда придет наш час – в конце концов не можем ведь мы жить вечно! – ты бы занял его место.

Филип задрожал при одной мысли об этом. Его охватил ужас. Сердце у него забилось, как птица, попавшая в силок. Тетя тихо плакала, положив к нему на плечо голову.

– Уговори дядю Уильяма позволить мне уйти из Теркенбэри. Если бы ты знала, как мне там опротивело!

Но священник из Блэкстебла не так-то легко менял свои планы; давно предполагалось, что Филип пробудет в Королевской школе до восемнадцати лет, а потом поступит в Оксфорд. Во всяком случае, дядя и слышать не хотел, чтобы Филип бросил школу немедленно, ведь они не предупредили об этом директора заранее и, следовательно, все равно придется платить за будущий триместр.

– Значит, ты сообщишь, что я ухожу на Рождество? – спросил Филип к концу длинного и крайне неприятного разговора.

– Я напишу мистеру Перкинсу и посмотрю, что он ответит.

– Ах, хоть бы мне скорей исполнился двадцать один год. Ужасно, когда ты во всем от кого-то зависишь.

– Филип, нельзя так говорить с дядей, – мягко упрекнула его миссис Кэри.

– Но как же ты не понимаешь, ведь Перкинс захочет, чтобы я остался. Каждый ученик – это для них лишние деньги.

– Почему ты не хочешь поступать в Оксфорд?

– Зачем мне это надо, если я не собираюсь посвящать свою жизнь религии?

– Ты уже посвятил себя ей, – возразил священник.

– Речь идет о том, что я не желаю становиться священником, – нетерпеливо ответил Филип.

– А кем же ты хочешь стать? – спросила миссис Кэри.

– Не знаю. Я еще не решил. Но кем бы я ни был, мне пригодятся иностранные языки. Провести год в Германии для меня куда полезнее, чем торчать в этой дыре.

Он не договорил, что, по его мнению, учение в Оксфорде было бы немногим лучше его школьной жизни. Ему так хотелось стать самостоятельным. И потом, в Оксфорде он непременно встретит кого-нибудь из школьных товарищей, а ему не терпелось расстаться с ними навсегда. Он чувствовал, что его школьная жизнь не удалась, и мечтал начать все заново.

Его желание поехать в Германию случайно совпало с кое-какими новыми веяниями, проникшими даже в Блэкстебл. К доктору иногда приезжали друзья, а с ними приходили и вести из внешнего мира, да и дачники, проводившие август на море, порой высказывали свои собственные взгляды на жизнь. Священник прослышал, что некоторые люди больше не считают старомодную систему образования такой уж полезной, а новые языки приобретают значение, какого не имели в дни его молодости. Сам он не знал, что и думать; одного из его братьев отправили в Германию, когда он провалился на каких-то экзаменах, и тем самым, казалось, в семье уже был создан прецедент, но, поскольку брат его умер там от брюшного тифа, этот опыт явно следовало считать опасным. В результате бесконечных обсуждений было решено, что Филип вернется в школу еще на один триместр, а потом оттуда уйдет. Филип был доволен таким решением. Но уже через несколько дней после возвращения в школу директор ему сказал:

– Я получил письмо от твоего дяди. Оказывается, ты хочешь ехать в Германию, и он спрашивает у меня, что я об этом думаю.

Филип был поражен. Он отчаянно разозлился на опекуна за то, что тот нарушил свое слово.

– Я считал это делом решенным, – сказал он.

– Как бы не так! Я написал, что твой уход был бы величайшей ошибкой.

Филип немедленно сел за стол и сочинил крайне резкое письмо дяде. Он не стеснялся в выражениях. Он был так зол, что долго не мог заснуть и рано утром проснулся в мрачном настроении. Он едва дождался ответа. Ответ пришел через два или три дня. Это было кроткое, грустное письмо от тети Луизы; по ее словам, ему не следовало так писать дяде: он причинил ему большое горе. Он поступил жестоко и не по-христиански. Надо ему понять, что они стараются для его же блага; они куда старше его, и им виднее, что для него лучше. Филип сжал кулаки. Он часто слышал такие доводы, но не понимал, почему их надо принимать на веру; дядя и тетя не знают современных условий; почему они так уверены, что раз они старше его, значит, и умнее?.. Письмо заканчивалось сообщением, что мистер Кэри взял обратно свое заявление об уходе племянника из школы.

Филип кипел негодованием до следующего вторника: во вторник и четверг после обеда их освобождали от уроков, потому что по субботам они вечером ходили в собор.

Филип задержался в классе позже других.

– Прошу вас, сэр, разрешите мне после обеда поехать в Блэкстебл, – попросил он.

– Нет, – отрезал директор.

– Мне нужно поговорить с дядей по важному делу.

– Разве ты не слышал, что я сказал «нет»?

Филип не стал возражать. Он вышел из класса. Его душила ярость от перенесенного унижения – унизительной просьбы и не менее унизительного отказа. Он ненавидел директора. Филип приходил в бешенство от всякого проявления деспотизма, особенно когда человек даже не считал нужным объяснить причины совершенного им насилия. Он был слишком зол, чтобы обдумывать свои поступки; после обеда он пошел знакомыми закоулками прямо на станцию и как раз поспел к поезду в Блэкстебл. Дядя и тетя были в гостиной.

– Ба! Откуда ты взялся? – спросил священник.

Он не мог скрыть, что совсем не рад приезду Филипа, и был слегка смущен.

– Я решил приехать и поговорить с тобой. Я хочу знать, почему ты обещал мне одно, когда я был здесь, а через неделю сделал совершенно другое.

Филип был немножко испуган своей храбростью, но он заранее обдумал все, что скажет, и, как ни билось его сердце, заставил себя произнести эти слова.

– Тебе разрешили сегодня приехать?

– Нет. Я просил Перкинса, но он отказал. Если ты хочешь донести ему, что я был здесь, ты можешь причинить мне целую кучу неприятностей.

Миссис Кэри дрожащими руками продолжала вязать. Она не привыкла к скандалам, они ее крайне волновали.

– Ты этого заслуживаешь, – сказал мистер Кэри.

– Если хочешь быть ябедой, пожалуйста. После твоего письма Перкинсу от тебя всего можно ожидать.

Со стороны Филипа было глупо так говорить – священник дождался нужного ему предлога.

– Я не желаю выслушивать твои дерзости, – произнес он с достоинством.

Он встал и поспешно ушел к себе в кабинет. Филип услышал, как он захлопнул за собой дверь и запер ее на ключ.

– О Господи, хоть бы мне скорей исполнился двадцать один год! Какой ужас быть связанным по рукам и ногам!

Тетя Луиза тихонько заплакала.

– Ах, Филип, как ты мог так говорить с дядей! Прошу тебя, пойди и извинись.

– И не подумаю. А с его стороны красиво пользоваться тем, что он опекун? Ведь это просто перевод денег – платить за меня в школу; но ему до этого и дела нет. Деньги-то не его. Зачем только меня отдали на попечение людям, которые ни черта в этом не смыслят.

– Филип…

Услышав ее голос, Филип сразу прервал свою яростную тираду – такое в нем было отчаяние. Он только теперь почувствовал всю резкость своих слов.

– Как ты можешь быть таким жестоким? Ты ведь знаешь, что мы стараемся для твоей же пользы. Конечно, у нас нет опыта… Будь у нас дети, все было бы иначе. Вот почему мы и посоветовались с мистером Перкинсом. – Голос ее задрожал. – Я старалась быть тебе матерью. Я всегда любила тебя, как собственного сына.

Она была такая маленькая и хрупкая, во всем ее облике старой девы было что-то донельзя грустное. Филип был растроган. Он почувствовал, как горло его сжалось и на глазах выступили слезы.

– Прости меня, – сказал он. – Я вел себя как последняя скотина.

Он встал перед ней на колени, обнял ее и стал целовать увядшие мокрые щеки. Она горько рыдала, и он вдруг ощутил острую жалость к этой зря прожитой жизни. Никогда еще она себе не позволяла так открыто проявлять свои чувства.

– Я вижу, что не стала для тебя тем, кем хотела стать, но, ей-богу же, я не знала, как это сделать. Я ведь так же страдаю от того, что у меня нет детей, как и ты, что у тебя нет матери.

Филип позабыл свой гнев и свои огорчения: он думал только о том, как бы утешить ее, бормоча отрывистые слова и неуклюже, по-ребячьи, стараясь ее приласкать. Но вскоре пробили часы, и он бросился бежать, чтобы поспеть на последний поезд, приходивший в Теркенбэри к вечерней перекличке. Забившись в угол вагона, он думал о том, что ничего не достиг, и злился на собственную слабость. Противно, что высокомерный тон священника и слезы тетки отвлекли его от цели. Но в результате каких-то переговоров между супругами, о которых Филип так и не узнал, директор получил еще одно письмо. Прочитав его, мистер Перкинс нетерпеливо передернул плечами. Он показал его Филипу.

Оно гласило:

> «Дорогой мистер Перкинс!
>
> Простите, что я снова тревожу Вас по поводу моего племянника, но и моя жена и я о нем беспокоимся. Судя по всему, он рвется из школы, и моя жена думает, что ему там очень тяжело. Нам трудно принять какое-нибудь решение – ведь мы не его родители. Сам он считает, что успехи у него посредственные и что оставаться в школе будет лишь тратой денег. Очень прошу Вас потолковать с ним, и, если он не передумает, ему, пожалуй, и в самом деле лучше уйти перед Рождеством, как я сперва и предполагал.
>
> *Искренне Ваш Уильям Кэри».*

Филип отдал директору письмо. Он ликовал. Желание его исполнилось, он добился своего. Воля его пересилила волю других.

– Вряд ли мне стоит тратить полчаса на письмо твоему дяде, ведь он снова передумает, если вслед за этим получит письмо от тебя, – с раздражением сказал директор.

Филип ничего не ответил; ни один мускул не дрогнул на его лице, только глаза лукаво блеснули. Мистер Перкинс заметил это и рассмеялся.

– Да, видно, твоя взяла, – сказал он.

Филип широко улыбнулся. Он не мог скрыть своего торжества.

– Это правда, что тебе невтерпеж в школе?

– Да, сэр.

– Тебе здесь плохо?

Филип покраснел. Он злился, когда люди пытались залезть к нему в душу.

– Не знаю, сэр.

Мистер Перкинс задумчиво глядел на него, медленно теребя бороду. Потом он заговорил, словно сам с собой:

– Конечно, школы предназначены для заурядных детей. Дыры всегда круглые, и какова бы ни была форма затычки, ее надо загнать в эту дыру. Нет времени заниматься незаурядным ребенком. – Внезапно он обратился к Филипу: – Послушай, я хочу тебе кое-что предложить. Дело идет к концу триместра. Ты не умрешь, если пробудешь здесь еще один триместр, а если ты хочешь ехать в Германию, лучше это сделать не после Рождества, а после Пасхи. Весной там куда приятнее, чем в разгар зимы. Если к концу следующего триместра ты не передумаешь, я не стану чинить тебе препятствий. Что ты на это скажешь?

– Большое спасибо, сэр.

На радостях, что он все-таки выиграл три месяца, Филип не стал возражать против еще одного триместра. Школа уже не казалась ему такой тюрьмой, как прежде: он знал, что навсегда избавится от нее еще до Пасхи. Сердце его прыгало в груди. В тот вечер в часовне он оглядел своих товарищей – они стояли, выстроившись по классам, каждый на своем месте – и усмехнулся от удовольствия при мысли, что скоро никогда их больше не увидит. Теперь он мог смотреть на них почти дружелюбно. Глаза его остановились на Розе. Тот очень серьезно относился к своим обязанностям старосты: он тешил себя мыслью, что служит примером

всей школе; в этот вечер была его очередь читать молитву, и он прочел ее отлично. Филип улыбнулся, подумав, что наконец избавится от него навсегда; не пройдет и полугода, как Филип забудет, что Роз – высокий и стройный, что у него прямые, длинные ноги, что он староста и капитан спортивной команды. Филип поглядел на учителей в мантиях. Гордон умер (он скончался два года назад от удара), но все остальные были на месте. Теперь Филип знал, какие это ничтожные люди, за исключением разве что Тернера, в котором было что-то человеческое. Филипа передернуло при мысли о том, в каком рабстве они его держали. Через полгода и они станут ему безразличны. Их похвала его не обрадует, а хула заставит только презрительно пожать плечами.

Филип научился скрывать свои чувства, к тому же он все еще страдал от застенчивости, но теперь он часто бывал весел; и, хотя он по-прежнему ковылял по школе с притворной скромностью, молчаливый и сдержанный, душа его ликовала. Даже ходить он стал как будто легче. В голове у него проносились разные мысли, мечты так стремительно обгоняли друг друга, что он не мог их удержать, но их веселый хоровод переполнял его сердце радостью. Теперь, когда у него было легко на душе, он мог опять заниматься, и в последние недели триместра принялся наверстывать упущенное. Голова его работала без всякого напряжения, и самый процесс мышления доставлял ему подлинное удовольствие. Он отлично выдержал экзамены. Мистер Перкинс только раз вернулся к их разговору: разбирая его сочинение, он, как обычно, указал ему на недостатки, а потом заметил:

– Стало быть, ты решил на время перестать валять дурака?

Он улыбнулся ему, сверкнув своими белоснежными зубами, и Филип, опустив глаза, смущенно улыбнулся в ответ.

Полдюжины учеников, собиравшихся поделить между собой различные награды в конце летнего триместра, давно перестали считать Филипа серьезным соперником; но теперь они стали наблюдать за ним с беспокойством. Он никому не говорил, что на Пасху уходит из школы и таким образом не может быть для них конкурентом, он не разубеждал их в этом. Он знал, что Роз гордится своим французским произношением – раза два он провел каникулы во Франции; к тому же Роз рассчитывал получить награду настоятеля собора за сочинение по английской литературе. Филип обрадовался, увидев, с какой растерянностью Роз почувствовал, насколько он сильнее его по этим предметам. Другой парень, Нортон, не мог поступить в Оксфорд, не получив одной из стипендий, которыми располагала школа. Нортон спросил Филипа, будет ли он ее добиваться.

– А тебе какое дело? – спросил Филип.

Ему льстило, что от него зависит чье-то будущее. Было нечто романтическое в том, чтобы захватить все эти награды, а потом с презрением уступить их другим. Наконец занятия кончились, и он отправился прощаться к мистеру Перкинсу.

– Неужели ты и в самом деле хочешь уйти? – спросил тот с искренним удивлением.

Лицо у Филипа вытянулось.

– Вы же обещали, что не станете возражать, – сказал он.

– Я думал, что на тебя нашла блажь, которой покуда лучше потакать. Я же знаю, как ты упрям. Скажи на милость, зачем тебе теперь уходить? Ведь тебе остался всего один триместр. Ты легко получишь стипендию святой Марии-Магдалины и половину всех наших наград.

Филип угрюмо молчал. Он понимал, что его обманули. Но ведь Перкинс дал обещание, и ему придется его сдержать.

– В Оксфорде тебе будет хорошо. Тебе не надо сейчас решать, чем ты займешься потом. Ты, видно, не понимаешь, как там чудесно живется всякому, у кого есть голова на плечах.

– У меня все готово для поездки в Германию, – сказал Филип.

– Что же это за приготовления, которых при желании нельзя отменить? – спросил мистер Перкинс с насмешливой улыбкой. – Я буду очень огорчен, если тебя потеряю. Тупицы, которые работают не покладая рук, всегда успевают в школе больше, чем способные ученики, но лентяи; если же способный ученик хочет заниматься – ну, тогда он достигает того, чего ты добился в этот триместр.

Филип густо покраснел. Он не привык к похвалам, и никто еще не говорил ему о его способностях. Директор положил ему руку на плечо.

– Если бы ты знал, как скучно вдалбливать что-нибудь в головы тупицам; но когда попадается ученик, который понимает тебя с полуслова, тогда преподавание становится самым увлекательным занятием на свете.

Филип таял от ласковых слов; ему прежде и в голову не приходило, что мистеру Перкинсу действительно не безразлично, уйдет он или останется. Он был и тронут, и необычайно польщен. Было бы приятно окончить школу с триумфом, а потом отправиться в Оксфорд: перед ним мелькали картины той жизни, о которой он знал понаслышке от выпускников, приезжавших в школу для участия в спортивных состязаниях, или по письмам студентов, переходившим из рук в руки в комнатах для занятий. Но ему было стыдно: каким же он окажется дураком в собственных глазах, если уступит; да и дядя посмеется над тем, как его перехитрил директор. А драматический отказ от всех наград, потому что он их презрел, превратится в простую будничную борьбу за них. В общем, прояви мистер Перкинс еще совсем немного настойчивости – ровно столько, чтобы он мог сохранить самоуважение, – и Филип пошел бы на все, чего хотел директор. Но лицо его никак не отражало боровшихся в нем чувств, оно оставалось спокойным и угрюмым.

– Я бы все-таки предпочел уйти, – сказал он.

Как и многие люди, привыкшие добиваться своего с помощью личного обаяния, мистер Перкинс становился нетерпелив, когда ему не удавалось сразу же настоять на своем. У него было много работы, и он больше не мог тратить драгоценное время на мальчишку, который так глупо упрямился.

– Ладно, – сказал он, – я обещал, что отпущу тебя, если ты этого действительно хочешь, и я сдержу обещание. Когда ты едешь в Германию?

Сердце Филипа ёкнуло. Бой был выигран, но он не был уверен, что это победа, а не поражение.

– В начале мая, – ответил он.

– Что ж, приезжай навестить нас, когда вернешься.

Директор протянул руку. Еще немножко, и Филип передумал бы, но мистер Перкинс, по-видимому, считал дело решенным. Филип вышел. Со школой покончено, он свободен; но неистовой радости, которой он ждал, Филип почему-то не почувствовал. Он медленно обошел школьный двор, и его охватило глубокое уныние. Теперь он жалел, что не вел себя умнее. Ему уже не хотелось уходить из школы, но он знал, что не сможет заставить себя пойти к директору и сказать, что остается. Это было бы таким унижением, какого он не мог вынести. Он сомневался, правильно ли поступил, был недоволен собой и всем на свете. И мрачно спрашивал себя: неужели всегда, когда тебе удается поставить на своем, ты потом об этом жалеешь?

Глава 22

В Берлине жила старая приятельница мистера Кэри, некая мисс Уилкинсон; отец ее был священником. Когда-то мистер Кэри был его помощником в одной из деревень Линкольншира; после смерти отца мисс Уилкинсон была вынуждена искать заработок и служила гувернанткой во Франции и в Германии. Она переписывалась с мистером Кэри и раза два проводила отпуск у него в доме в Блэкстебле, платя небольшую сумму за свое содержание, как это обычно делали редкие гости семейства Кэри. Когда выяснилось, что легче уступить желанию Филипа, чем ему противиться, миссис Кэри написала ей и попросила совета. Мисс Уилкинсон рекомендовала Гейдельберг как самое подходящее место для изучения немецкого языка и дом фрау профессорши Эрлин – как самое удобное пристанище. Филип сможет жить там на всем готовом за тридцать марок в неделю, а учить его будет сам профессор, преподаватель местной гимназии.

Филип приехал в Гейдельберг майским утром. На вокзале его вещи погрузили на ручную тележку, и он последовал за носильщиком. Над ним сияло ярко-голубое небо, а деревья на улице, по которой они шли, были покрыты густой листвой; в самом воздухе было что-то новое для Филипа, и к робости, которую он испытывал, вступая в новую жизнь среди чужих людей, примешивалось радостное возбуждение. Он был несколько огорчен тем, что никто его не встретил, и совсем смутился, подойдя к подъезду большого белого дома, куда его довел носильщик. Какой-то растрепанный парень впустил его в дом и проводил в гостиную. Она была заставлена массивной мебелью, обитой зеленым бархатом, посредине стоял круглый стол. На нем красовался в вазе с водой букет цветов, туго обернутый в нарезанную бахромой бумагу, как кость от бараньей котлетки; вокруг вазы были аккуратно разложены книги в кожаных переплетах. Воздух в комнате был затхлый.

В гостиную, принеся с собой запах кухни, вошла фрау профессорша – низенькая, толстая, чрезмерно приветливая женщина с туго завитым шиньоном; на ее красном лице, как бусинки, блестели маленькие глазки. Взяв Филипа за руки, она принялась расспрашивать его о мисс Уилкинсон, которая дважды прожила по нескольку недель в доме профессорши. Говорила она на ломаном английском языке, примешивая немецкие слова. Филипу так и не удалось ей объяснить, что он незнаком с мисс Уилкинсон. Потом появились две дочки фрау профессорши. Филипу девицы показались перезрелыми, хотя им было, наверно, лет по двадцать пять. Старшая, Текла, была такая же коротышка, как мать, с такой же фальшивой манерой держаться, но у нее было хорошенькое личико и густые темные волосы; младшая, Анна, была долговязой и невзрачной, но улыбка ее показалась Филипу приятной, и он сразу предпочел ее сестре. После нескольких минут вежливой беседы фрау профессорша отвела Филипа в его комнату и оставила одного. Комната помещалась в башенке, из окна виднелись верхушки деревьев парка; кровать стояла в алькове, и, сидя за столом, можно было совсем забыть, что находишься в спальне. Филип распаковал свои вещи и расставил книги. Наконец-то он начинал самостоятельную жизнь.

В час дня звонок позвал его к обеду; в гостиной собрались все жильцы фрау профессорши. Филипа представили ее супругу – высокому человеку средних лет с кроткими голубыми глазами и большой светловолосой головой, которую тронула седина. Он заговорил с Филипом на правильном, но довольно старомодном английском языке, усвоенном из английских классиков; странно было слышать в разговоре слова, которые Филип встречал лишь в пьесах Шекспира. Фрау профессорша Эрлин звала свое заведение не пансионом, а «семейным домом»; но нужно было хитроумие метафизика, чтобы установить, в чем заключалось различие. Когда они уселись обедать в длинной темной комнате рядом с гостиной, Филип, который очень робел, насчитал за столом шестнадцать человек. Фрау профессорша

сидела во главе стола и раскладывала порции. Прислуживал, нещадно стуча тарелками, все тот же неотесанный увалень, который открыл Филипу дверь; как он ни суетился, первые кончали есть, прежде чем получали свою еду последние. Фрау профессорша настаивала на том, чтобы говорили только по-немецки, так что, если бы Филип и пересилил свою застенчивость, ему все равно пришлось бы молчать. Он приглядывался к людям, с которыми ему предстояло жить. Возле фрау профессорши сидело несколько старух, но Филип не обратил на них внимания. Были тут и две молодые девушки, обе белокурые, и одна из них очень хорошенькая; Филип услышал, что одну звали фрейлейн Гедвига, а другую – фрейлейн Цецилия. У фрейлейн Цецилии была длинная коса. Девушки сидели рядом и болтали друг с другом, сдержанно хихикая; они то и дело посматривали на Филипа; одна из них что-то шептала другой, и та фыркала, а Филип краснел как рак, чувствуя, что они над ним потешаются. Рядом с ними сидел китаец с желтым лицом и широкой улыбкой – он изучал жизнь Запада. Китаец говорил скороговоркой, с таким странным акцентом, что девушки не всегда могли его понять и покатывались со смеху. Он тоже добродушно посмеивался, жмуря свои миндалевидные глаза. Было тут и несколько американцев в черных пиджаках, с пергаментным, нездоровым цветом лица – студенты-теологи; в их плохой немецкой речи Филипу слышалось гнусавое американское произношение; он поглядывал на них подозрительно – ведь его учили смотреть на американцев как на необузданных дикарей.

Позже они посидели немного в гостиной на жестких стульях, обитых зеленым бархатом, и фрейлейн Анна спросила Филипа, не хочет ли он с ними прогуляться.

Филип согласился. Собралась целая компания: дочери фрау профессорши, две другие девушки, один из американских студентов и Филип. Филип шел с Анной и фрейлейн Гедвигой и немножко волновался. Он никогда еще не был знаком ни с одной девушкой. В Блэкстебле не было никого, кроме дочерей крестьян и местных лавочников. Филип знал их по именам и в лицо, но был робок, и ему казалось, что они смеются над его хромотой. Он охотно соглашался со священником и миссис Кэри, которые проводили границу между собственным высоким положением и положением крестьян. У доктора было две дочери, но обе значительно старше Филипа; они вышли замуж за ассистентов отца еще тогда, когда Филип был совсем маленьким. В Теркенбэри были девицы не слишком скромного поведения, с которыми встречался кое-кто из учеников; об интрижках с ними рассказывали скабрезные истории – плод воспаленного мальчишеского воображения. Слушая их, Филип скрывал свой ужас под личиной гордого презрения. Его фантазия и прочитанные книги воспитали в нем склонность к байронической позе; в нем боролись два чувства – болезненная застенчивость и уверенность, что он обязан быть галантным. Сейчас он понимал, что ему нужно казаться веселым и занимательным. Но в голове у него не было ни единой мысли, и он мучительно придумывал, что бы ему сказать. Дочь фрау профессорши, фрейлейн Анна, то и дело обращалась к нему из чувства долга; другая же девушка говорила мало, зато поглядывала на него насмешливыми глазами, а иногда, к его великому смущению, откровенно заливалась смехом. Филип был уверен, что выглядит чучелом гороховым. Они шли по склону холма, среди сосен, и Филип с наслаждением вдыхал их аромат. Стоял теплый и безоблачный день. Наконец они взобрались на холм и увидели внизу перед собой долину Рейна, залитую солнцем. Просторные дали словно искрились в золотых лучах; змеилась серебристая лента реки, а по берегам ее были разбросаны города. В том уголке Кента, где жил Филип, не было таких просторов, одно только море открывало глазу дальние горизонты; неоглядная ширь, лежавшая перед Филипом, приводила его в какой-то неизъяснимый восторг. Он вдруг ощутил себя словно окрыленным. Сам того не понимая, он впервые испытал чистое, ни с чем другим не смешанное чувство красоты. Они сели втроем на скамейку – остальные ушли дальше, – и, пока девушки болтали по-немецки, Филип, забыв об их присутствии, наслаждался открывшимся ему видом.

– Видит Бог, я счастлив, – бессознательно произнес он вслух.

Глава 23

Иногда Филип вспоминал о Королевской школе в Теркенбэри и посмеивался, гадая, чем там заняты в эту минуту. Иногда ему снилось, что он все еще в школе, и, просыпаясь в своей башенке, он испытывал необычайное удовлетворение. Лежа в постели, он видел огромные кучевые облака, висевшие в синем небе. Он наслаждался свободой. Он мог ложиться, когда хотел, и вставать, когда ему нравилось. Никто им не командовал. Его радовало, что ему не приходится больше лгать.

Они договорились с профессором Эрлином, что тот станет учить его латыни и немецкому; каждый день к нему приходил француз и давал уроки французского; а в качестве учителя математики фрау профессорша рекомендовала англичанина, изучавшего филологию в университете. Это был некий Уортон. Он снимал комнату в верхнем этаже запущенного дома. Дом был грязный, неопрятный, в нем воняло на все лады. В десять часов утра, когда появлялся Филип, Уортон обычно был еще в постели; вскочив, он натягивал грязный халат, совал ноги в войлочные туфли и, пока давал урок, поглощал свой скудный завтрак. Это был приземистый человек, растолстевший от неумеренного потребления пива, с густыми усами и длинными, растрепанными волосами. Он прожил в Германии уже пять лет и совсем онемечился. Он с презрением говорил о Кембриджском университете, где получил диплом, и с горечью – о возвращении в Англию, где его после защиты диссертации в Гейдельберге ожидала педагогическая карьера. Он обожал университетскую жизнь в Германии с ее независимостью и веселым компанейством. Он был членом Burschenschaft[3] и обещал сводить Филипа в Kneipe[4]. Не имея ни гроша за душой, он не скрывал, что уроки, которые он дает Филипу, позволяли ему есть за обедом мясо вместо хлеба с сыром. Иногда после бурно проведенной ночи у него так трещала голова, что он не мог даже выпить кофе и давал урок с большим трудом. Для таких случаев он хранил под кроватью несколько бутылок пива; кружка пива, а за нею трубка помогали ему переносить житейские невзгоды.

– Клин клином вышибай, – изрекал он, осторожно наливая себе пиво, чтобы пена не мешала ему поскорее добраться до влаги.

Потом он рассказывал Филипу об университете, о ссорах между соперничавшими корпорациями, о дуэлях, о достоинствах того или иного профессора. Филип больше учился у него жизни, чем математике. Иногда Уортон со смехом откидывался на спинку стула и говорил:

– Послушайте, а мы ведь сегодня бездельничали. Вам не за что мне платить.

– Какая ерунда! – отвечал Филип.

Тут было что-то новое, очень интересное, куда более важное, чем тригонометрия, которой он все равно не понимал. Перед ним словно распахнулось окно в жизнь, он глядел на нее – и душа его замирала.

– Нет уж, оставьте ваши грязные деньги себе, – говорил Уортон.

– Ну а как вы намерены обедать? – с улыбкой спрашивал Филип. Он отлично знал денежные дела своего учителя: Уортон даже попросил его выплачивать по два шиллинга за урок еженедельно, а не ежемесячно – это облегчало дело.

– Черт с ним, с обедом. Не впервой мне обедать бутылкой пива – это прочищает мозги.

Нырнув под кровать (простыни посерели, так давно они были не стираны), он выудил оттуда новую бутылку. Филип был еще молод и, не разбираясь в прелестях жизни, отказался разделить ее с ним; Уортон выпил пиво в одиночку.

---

[3] Студенческой корпорации (*нем.*).

[4] Пивную (*нем.*).

– И долго вы собираетесь тут жить? – спросил как-то раз Уортон.

Оба они с облегчением перестали делать вид, будто занимаются математикой.

– Не знаю. Наверно, около года. Родные хотят, чтобы потом я поступил в Оксфорд.

Уортон пренебрежительно пожал плечами. Филип, к удивлению своему, узнал, что есть люди, которые не чувствуют благоговения перед этим оплотом науки.

– Зачем вам туда поступать? Вы ведь так и останетесь школяром, только более почтенным. А почему бы вам не пойти в здешний университет? Один год в Германии ничего вам не даст. Проведите здесь пять лет. Знаете, в жизни есть две хорошие вещи: свобода мысли и свобода действия. Во Франции вы пользуетесь свободой действия: вы можете поступать, как вам угодно, никто не обращает на это внимания, но думать вы должны, как все. В Германии вы должны вести себя, как все, но думать можете, как вам угодно. Кому что нравится. Лично я предпочитаю свободу мысли. Но в Англии вы лишены и того, и другого: вы придавлены грузом условностей. Вы не вправе ни думать, ни вести себя, как вам нравится. А все потому, что у нас демократическая страна. Наверно, в Америке еще хуже.

Он осторожно откинулся на стуле – одна из ножек расшаталась, и было бы жаль, если бы такая пышная тирада закончилась падением на пол.

– Мне нужно в этом году вернуться в Англию, но, если я смогу наскрести деньжат, чтобы не протянуть ноги, я задержусь здесь еще на год. А потом уж придется уехать. И покинуть все это… – Широким жестом он обвел грязную мансарду с неубранной постелью, разбросанную на полу одежду, шеренгу пустых пивных бутылок у стены, кипы растрепанных книг без переплетов во всех углах. – … Покинуть все это ради какого-нибудь провинциального университета, где я попытаюсь получить кафедру германской филологии. И начну играть в теннис и ходить в гости на чашку чая. – Прервав свой монолог, он иронически оглядел с ног до головы Филипа – опрятно одетого, с чистым воротничком, с аккуратно зачесанными волосами. – И, Боже мой, – закончил он, – мне придется умываться!

Филип покраснел: он почувствовал в своем щегольстве какое-то неприличие. С недавних пор он стал уделять внимание своей внешности и вывез из Англии изрядную коллекцию галстуков.

А лето победно вступало в свои права. Один день был прекраснее другого. Небо стало таким дерзко-синим, что подстегивало, как удар хлыста. Зелень деревьев в парке была до крикливости яркой, а белизна освещенных солнцем домов слепила чуть не до боли. Возвращаясь от Уортона, Филип иногда садился в тень на одну из скамеек парка, радуясь прохладе и наблюдая за узорами, которые солнечные лучи рисовали на земле, пробиваясь сквозь листву. И душа его дрожала от восторга, как солнечный луч. Он наслаждался этими минутами безделья, украденными у занятий. Иногда он бродил по улицам старого города. Филип с благоговением глядел на студентов-корпорантов с багровыми шрамами на щеках, щеголявших в своих разноцветных фуражках. После обеда он бродил по холмам с девушками из дома фрау профессорши, а иногда они отправлялись вверх по реке и пили чай в тенистом садике возле какого-нибудь трактира. По вечерам они кружили по городскому саду, слушая, как играет оркестр.

Вскоре Филип изучил склонности обитателей пансиона. Старшая дочь профессора, фрейлейн Текла, была обручена с англичанином, который прожил двенадцать месяцев в их доме, обучаясь немецкому языку; свадьба была назначена на конец года. Но молодой человек писал, что его отец, оптовый торговец каучуком из Слау, не одобряет этого брака, и фрейлейн Теклу часто заставали в слезах. Не раз видели, как она, неумолимо сдвинув брови и решительно сжав губы, перечитывает вместе с матерью письма неподатливого жениха. Текла рисовала акварелью, и порой они с Филипом отправлялись писать этюды, пригласив одну из девушек для компании. У хорошенькой фрейлейн Гедвиги тоже были свои любовные неурядицы. Она была дочерью берлинского коммерсанта, а в нее влюбился лихой гусар,

чье имя, представьте, писалось с аристократической приставкой «фон»; его родители возражали против брака с девицей из торгового сословия, и ее отправили в Гейдельберг, чтобы она о нем позабыла. Но она никогда, никогда его не забудет! Фрейлейн Гедвига продолжала с ним переписываться, он же предпринимал отчаянные попытки убедить непреклонного отца изменить свое решение. Все это она поведала Филипу, премило вздыхая и нежно краснея, показав ему фотографию неунывающего лейтенанта. Филипу она нравилась больше других девушек в доме фрау профессорши, и на прогулках он всегда старался держаться с ней рядом. Он заливался краской, когда остальные подтрунивали над явным предпочтением, которое он ей оказывал. Он даже объяснился фрейлейн Гедвиге – первый раз в жизни, но – увы! – это случилось нечаянно. В те вечера, когда они не гуляли, девушки пели песенки в зеленой гостиной, а услужливая фрейлейн Анна прилежно аккомпанировала. Любимая песня фрейлейн Гедвиги называлась «Ich liebe dich» – «Люблю тебя». Однажды вечером она ее спела, и они с Филипом вышли на балкон полюбоваться звездами; ему вдруг захотелось сказать ей что-нибудь приятное о ее пении. Он начал:

– «Ich liebe dich»…

Говорил он по-немецки с запинкой, с трудом подбирая нужные слова. На этот раз он сделал совсем маленькую паузу, но, прежде чем он успел окончить фразу, фрейлейн Гедвига сказала:

– Ach, Herr Cary, Sie müssen mir nicht du sagen[5].

Филипа бросило в жар – разве он посмел бы позволить себе такую фамильярность? Он совсем потерял дар речи. С его стороны было бы неделикатно доказывать, что он вовсе и не думал объясняться, а просто упомянул название песни.

– Entschuldigen Sie[6], – сказал он.

– Ничего, – прошептала она.

Она мило улыбнулась, тихонько пожала его руку, а потом вернулась в гостиную.

На другой день он чувствовал себя так неловко, что не мог вымолвить ни слова и, сгорая от смущения, всячески избегал с ней встречи. Когда его, как всегда, позвали на прогулку, он отказался, сославшись на то, что ему надо заниматься. Но фрейлейн Гедвига нашла возможность поговорить с ним с глазу на глаз.

– Почему вы себя так ведете? – ласково спросила она. – Знаете, я нисколько на вас не в обиде за вчерашнее. Что же вы можете поделать, если меня полюбили? Мне это даже лестно. Но, хотя официально я и не обручена с Германом, я считаю себя его невестой и никогда не полюблю никого другого.

Филип снова вспыхнул, но ему удалось принять вид отвергнутого влюбленного.

– Надеюсь, вы будете очень счастливы, – сказал он.

[5] Ах, герр Кэри, вам не следует говорить мне «ты» (*нем.*).

[6] Извините меня (*нем.*).

Глава 24

Профессор Эрлин занимался с Филипом ежедневно. Он составил список книг, которые надлежало прочесть, прежде чем приступить к самому трудному – к «Фаусту», а пока что довольно умно предложил ему начать с немецкого перевода одной из пьес Шекспира, которую Филип проходил в школе. В те времена слава Гёте достигла в Германии своего апогея. Несмотря на то что Гёте относился к ура-патриотизму свысока, его признали величайшим национальным поэтом, а после войны семидесятого года – одним из самых ярких символов национального единства. Энтузиастам казалось, что в неистовствах Walpurgisnacht[7] слышится грохот артиллерии под Гравелоттом[8]. Один из признаков писательского гения заключается в том, что люди различных убеждений находят в нем каждый свои собственные источники вдохновения; профессор Эрлин, ненавидевший пруссаков, восторженно поклонялся Гёте за то, что его дышавшие олимпийским спокойствием творения давали здравомыслящему человеку прибежище от треволнений современного общества. Появился драматург, чье имя все чаще повторяли в Гейдельберге последнее время, – прошлой зимой одна из его пьес шла в театре под восторженные овации поклонников и свистки добропорядочных людей. Филип слышал споры о ней за длинным столом фрау профессорши, и в этих спорах профессор Эрлин терял обычное спокойствие: он стучал кулаком по столу и заглушал инакомыслящих раскатами своего великолепного баса. По его словам, это был вздор, и вздор непристойный. Он заставил себя высидеть спектакль до конца, но затруднялся теперь сказать, чего испытал больше – скуки или отвращения. Если театр докатился до такого падения, пора вмешаться полиции и запретить подобные зрелища. Он вовсе не ханжа и готов посмеяться, как и всякий другой, над остроумным и безнравственным фарсом в «Пале-Рояль», но тут нет ничего, кроме грязи. Он красноречиво зажал нос и свистнул сквозь зубы. Это ведет к разложению семьи, гибели морали, распаду Германии.

– Aber, Adolf[9], – взывала фрау профессорша с другого конца стола, – не волнуйся!

Профессор погрозил ей кулаком. Он был самым кротким существом на свете и ни разу в жизни не отважился предпринять что-нибудь без ее совета.

– Нет, Елена, – вопил он, – говорю тебе, пусть лучше я увижу трупы наших дочерей у своих ног, чем узнаю, что они слушали бред этого бесстыдника.

Пьеса называлась «Кукольный дом», автором ее был Генрик Ибсен.

Профессор Эрлин ставил его на одну доску с Рихардом Вагнером, но имя последнего он произносил не с гневом, а с добродушным смехом. Это был шарлатан, но шарлатан удачливый, и тут было над чем посмеяться.

– Verrückter Kerl![10] – говорил он.

Он видел «Лоэнгрина», и это было еще терпимо. Скучно, но не более того. А вот «Зигфрид»! Тут профессор Эрлин подпирал ладонью голову и разражался хохотом. Ни одной мелодии с самого начала и до самого конца! Представляю себе, как Рихард Вагнер сидит в своей ложе и до колик смеется над теми, кто принимает его музыку всерьез. Это – величайшая мистификация девятнадцатого века! Профессор поднес к губам стакан пива, запрокинул голову и выпил до дна. Потом, утирая рот тыльной стороной руки, произнес:

---

[7] Вальпургиевой ночи (*нем.*).

[8] Под Гравелоттом (недалеко от Меца) произошла решающая битва франко-прусской войны 1870 года, закончившаяся победой немцев.

[9] Послушай, Адольф (*нем.*).

[10] Безумец! (*нем.*).

– Поверьте, молодые люди, еще не кончится девятнадцатый век, а о Вагнере никто и не вспомнит. Вагнер! Да я отдам все, что он написал, за одну оперу Доницетти.

Глава 25

Самым странным из всех учителей Филипа был преподаватель французского языка мсье Дюкро – гражданин города Женевы. Это был высокий старик с болезненным цветом лица и впалыми щеками; длинные седые волосы его сильно поредели. Он ходил в поношенном черном пиджаке с протертыми локтями и брюках с бахромой. Рубашка его давно нуждалась в стирке. Филип ни разу не видел на нем чистого воротничка. Мсье Дюкро мало говорил, уроки давал добросовестно, хоть и без особого интереса, появляясь и уходя минута в минуту. Получал он гроши. Человек он был необщительный, и то, что Филип о нем знал, он услышал от других: говорили, что мсье Дюкро сражался с Гарибальди против папы, но с возмущением покинул Италию, выяснив, что все его усилия добиться свободы – под нею он подразумевал создание республики – привели к замене одного ярма другим. Из Женевы его выслали за какие-то политические прегрешения. Филип с любопытством разглядывал мсье Дюкро – уж очень он не подходил к его представлению о революционере: швейцарец говорил тихим голосом и был изысканно вежлив, никогда не садился, пока его об этом не просили, а в тех редких случаях, когда встречал Филипа на улице, изящным жестом снимал шляпу. Он никогда не смеялся и даже не улыбался. Более зрелое воображение нарисовало бы подающего блестящие надежды юношу, вступившего в жизнь в 1848 году, когда у королей при одной мысли об их французском собрате пренеприятно ломило шею. Быть может, пламенная жажда свободы, которая охватила всю Европу и смела все пережитки абсолютизма и тирании, воскресшие в годы реакции, последовавшей за революцией 1789 года, ни в одной другой груди не зажгла более яркого огня. Легко было себе представить его – страстного поклонника учения о всеобщем равенстве и правах человека – в пылу горячих споров, сражающимся на баррикадах в Париже, спасающимся от австрийских кавалеристов в Милане, брошенным в тюрьму здесь, высланным оттуда, черпающим надежду и вдохновение в магическом слове – Свобода… Но вот, постарев, сломленный болезнями и лишениями, не имея других средств к существованию, кроме грошовых уроков, которые он с трудом находит, он очутился здесь, в этом опрятном городке, под пятой тирании, более деспотической, чем любая другая в Европе. Быть может, его замкнутость скрывала презрение к человечеству – ведь оно отреклось от великой мечты его молодости и погрязло в ленивой праздности; а может, тридцать лет революций привели его к выводу, что люди недостойны свободы, и он решил, что растратил жизнь в бесплодной погоне за призраками. А может, он просто до изнеможения устал и теперь равнодушно ожидает избавления в смерти.

Однажды Филип со свойственной его возрасту прямотой спросил мсье Дюкро, правда ли, что он сражался под знаменами Гарибальди. Казалось, старик не придал этому вопросу никакого значения. Он ответил невозмутимо, как всегда, тихим голосом:

– Oui, monsieur[11].

– Говорят, вы были коммунаром?

– Вот как? Что же, будем продолжать заниматься?

Он раскрыл книгу, и оробевший Филип принялся переводить приготовленный урок.

Как-то раз мсье Дюкро пришел на занятие совсем больным. Он едва осилил высокую лестницу, которая вела в комнату Филипа, а войдя, тяжело опустился на стул; бледное лицо его осунулось, на лбу блестели капельки пота, он с трудом переводил дыхание.

– Мне кажется, вы нездоровы, – сказал Филип.

– Ничего.

[11] Да, мсье (*фр.*).

Но Филип видел, как ему плохо, и в конце урока спросил, не хочет ли он повременить с занятиями, пока ему не станет лучше.

– Нет, – сказал старик своим ровным, тихим голосом. – Лучше продолжать, раз я еще в силах.

Филип, болезненно стеснявшийся всяких разговоров о деньгах, покраснел.

– Но для вас это не составит никакой разницы, – сказал он. – Я все равно буду платить за уроки. Если позволите, я дам вам денег за неделю вперед.

Мсье Дюкро брал полтора шиллинга за час. Филип вынул из кармана монету в десять марок и смущенно положил ее на стол. Он не мог заставить себя протянуть ее старику, точно нищему.

– В таком случае я, пожалуй, не приду, пока не поправлюсь. – Мсье Дюкро взял монету и, как всегда молча, отвесил церемонный поклон. – Bonjour, monsieur[12].

Филип был немножко разочарован. Ему казалось, что он вел себя благородно и что мсье Дюкро следовало бы выказать ему признательность. Его озадачило, что старый учитель принял дар как нечто должное. Филип был еще так молод, что не понимал, насколько меньше чувствуют обязательства те, кому оказывают услугу, чем те, кто ее оказывает. Мсье Дюкро снова появился дней через шесть. Походка его была еще менее твердой, чем всегда, и он, по-видимому, очень ослабел, но, судя по всему, приступ болезни прошел. Он был по-прежнему молчалив, все так же скрытен, загадочен и неопрятен. Только по окончании урока мсье Дюкро упомянул о своей болезни; уходя, он задержался возле двери, помешкал и с трудом произнес:

– Если бы не деньги, которые вы дали, мне бы пришлось голодать. Мне ведь больше не на что жить.

Он с достоинством отвесил свой низкий поклон и вышел из комнаты. У Филипа сжалось горло. Он смутно почувствовал всю безнадежную горечь борьбы этого одинокого старика, понял, как сурово обошлась с ним жизнь, которая сейчас так ласково улыбалась ему, Филипу.

[12] Всего хорошего, мсье (*фр.*).

Глава 26

Филип пробыл в Гейдельберге три месяца, когда однажды утром фрау профессорша сообщила ему, что к ним приезжает англичанин по фамилии Хейуорд, и в тот же вечер за ужином он увидел новое лицо. Уже несколько дней семейство Эрлин пребывало в большом возбуждении. Прежде всего в результате бог знает каких интриг, униженных просьб и скрытых угроз родители молодого англичанина, с которым была помолвлена фрейлейн Текла, пригласили ее погостить у них в Англии; она пустилась в путь, вооружившись альбомом акварелей (наглядным свидетельством ее совершенств) и пачкой писем (неопровержимым доказательством того, как далеко зашел молодой человек). Неделю спустя сияющая фрейлейн Гедвига объявила о предстоящем приезде в Гейдельберг своего возлюбленного лейтенанта и его родителей. Измученные приставаниями сына и тронутые до глубины души размерами приданого, обещанного отцом фрейлейн Гедвиги, они согласились проездом остановиться в Гейдельберге, чтобы познакомиться с молодой девушкой. Встреча прошла благополучно, и фрейлейн Гедвига смогла похвастаться своим возлюбленным в городском саду перед всеми домочадцами фрау профессорши. Молчаливые старушки, сидевшие во главе стола, возле фрау профессорши, были вне себя от волнения, а когда фрейлейн Гедвига объявила, что возвращается домой, где состоится официальная помолвка, фрау профессорша решилась, не считаясь с затратами, пригласить всех на майский пунш. Профессор Эрлин гордился своим умением готовить этот не слишком крепкий напиток, и после ужина на круглый стол в гостиной торжественно водрузили большую чашу рейнвейна с содовой водой, в которой плавали ароматные травы и земляника. Фрейлейн Анна поддразнивала Филипа, что дама его сердца уезжает; ему было не по себе, он испытывал легкую меланхолию. Фрейлейн Гедвига спела несколько романсов, фрейлейн Анна сыграла «Свадебный марш», а профессор Эрлин исполнил «Die Wacht am Rein»[13].

В разгаре празднества Филип уделял мало внимания приезжему англичанину. За ужином они сидели друг против друга, но Филип был занят болтовней с фрейлейн Гедвигой, а незнакомец, не зная немецкого языка, молча поглощал пищу. Заметив на нем голубой галстук, Филип сразу же почувствовал к нему неприязнь. Это был светлый блондин с длинными вьющимися волосами – он часто проводил по ним небрежной рукой. Его большие голубые глаза казались слишком светлыми, в них уже проглядывала какая-то усталость, хотя незнакомцу было лет двадцать шесть. Лицо бритое, рот хорошо очерчен, но губы чересчур тонки. Фрейлейн Анна считала себя хорошей физиогномисткой и обратила внимание Филипа на изящные линии его лба и бесхарактерный подбородок. По ее словам, у него была голова мыслителя, но челюсть указывала на слабоволие. Фрейлейн Анне с ее выдающимися скулами и большим неправильным носом суждено было остаться старой девой, поэтому она придавала большое значение характеру. Пока они обсуждали Хейуорда, тот стоял немного в стороне от других, наблюдая за их шумным весельем с добродушным, чуть-чуть надменным выражением лица. Он был высок, строен и умел держать себя в обществе. Один из американских студентов, по фамилии Уикс, заметив его одиночество, подошел и завязал с ним беседу. Они представляли собой любопытный контраст: аккуратный американец в черном пиджаке и темно-серых брюках, тощий и словно высохший, с уже сквозящей в его манерах елейностью церковника и англичанин в свободном грубошерстном костюме, с длинными руками и ногами и медлительными жестами.

Филип заговорил с приезжим только на следующий день. Перед обедом они оказались вдвоем на балконе гостиной.

---

[13] «Стража на Рейне» (*нем.*).

– Вы англичанин? – обратился к Филипу Хейуорд.

– Да.

– Здесь всегда так плохо кормят, как вчера вечером?

– Кормят всегда одинаково.

– Отвратительно, не правда ли?

– Да, отвратительно.

До сих пор пища вполне удовлетворяла Филипа, и он поглощал ее с аппетитом и в немалом количестве, но ему не хотелось показать себя невзыскательным и признать хорошим обед, который кто-то другой счел отвратительным.

Поездка фрейлейн Теклы в Англию заставила ее сестру куда больше хлопотать по дому, и у нее теперь редко находилось время для прогулок, а фрейлейн Цецилия с длинной белокурой косой и маленьким вздернутым носиком последнее время заметно сторонилась общества. Фрейлейн Гедвиги не было, Уикс – тот американец, который обычно сопровождал их на прогулках, – отправился путешествовать по Южной Германии, и Филип теперь часто оставался в одиночестве. Хейуорд явно искал с ним близости, но у Филипа была злосчастная черта: от застенчивости, а может, из инстинкта, передавшегося ему от людей пещерного века, он всегда испытывал к людям сперва неприязнь; только привыкнув к ним, он избавлялся от первоначального ощущения. Это делало его малообщительным. К попыткам Хейуорда завязать с ним дружеские отношения он относился сдержанно, а когда тот однажды пригласил его погулять, согласился только потому, что не смог придумать вежливой отговорки. Он, как всегда, рассердился на себя за то, что покраснел, и попытался скрыть смущение смехом.

– Простите, я хожу не слишком быстро.

– Боже мой, да и я не собираюсь бежать бегом. Я тоже предпочитаю ходить медленно. Разве вы не помните то место из «Мариуса»[14], где Патер говорит, что спокойный моцион – лучший стимул для беседы?

Филип умел слушать: ему нередко приходили в голову умные мысли, но чаще всего задним числом. Хейуорд же был разговорчив; человек с более богатым жизненным опытом, чем Филип, понял бы, что ему нравится слушать себя. Но на Филипа его высокомерие производило неотразимое впечатление. Он не мог не восхищаться человеком, который свысока относится ко всему, что сам Филип считает чуть ли не священным. Хейуорд высмеивал увлечение спортом, с презрением приклеивая ярлык охотника за кубками ко всем, кто им занимался, а Филип не замечал, что он попросту заменяет этот фетиш фетишем культуры.

Они поднялись к замку и посидели на террасе, откуда был виден весь город. Раскинутый в долине, на берегах живописного Неккара, Гейдельберг выглядел уютно и приветливо. Над ним, словно голубое марево, висел дымок из труб, высокие крыши и шпили церквей придавали городу живописный средневековый вид. Во всем этом была какая-то безыскусственность, которая согревает сердце. Хейуорд говорил о «Ричарде Февереле»[15] и «Мадам Бовари», о Верлене, Данте и Мэтью Арнольде. В те дни переводы Фицджеральда из Омара Хайяма были известны только избранным, и Хейуорд декламировал их Филипу. Хейуорд любил читать стихи – и свои собственные, и чужие; читал он их монотонным голосом, нараспев. Когда они возвращались домой, недоверие Филипа к Хейуорду сменилось восторженным восхищением.

Они взяли за правило гулять каждый день после обеда, и вскоре Филип узнал всю несложную биографию Хейуорда. Он был сыном сельского судьи и унаследовал после смерти отца триста фунтов годового дохода. Хейуорд окончил школу с отличием, и при его

[14] «Мариус-эпикуреец» – произведение английского критика и искусствоведа Уолтера Патера (1839–1894).

[15] «Ричард Феверел» – роман английского писателя Джорджа Мередита (1828–1909).

поступлении в Кембриджский университет ректор лично выразил удовольствие, что факультет получит такого студента. Его ждала блестящая карьера. Он вращался в самых избранных кругах интеллигенции, с энтузиазмом читал Браунинга и воротил свой точеный нос от Теннисона; он знал все подробности интимной жизни Шелли, слегка интересовался историей искусства (стены его комнаты были украшены репродукциями с картин Уоттса, Берн-Джонса и Боттичелли), не без изящества сочинял стихи, полные пессимизма. Друзья его говорили, что у него выдающиеся способности, и он охотно прислушивался, когда ему предсказывали громкую славу. Постепенно в своем кругу он стал авторитетом в области искусства и литературы. Большое влияние оказала на него «Апология» Ньюмена[16]; пышность римско-католической религии отвечала его эстетическому чувству; перейти в эту религию мешал ему только страх перед отцом (грубоватым, ограниченным человеком, читавшим Маколея). Друзья его были поражены, когда он окончил университет без всяких отличий, но он только пожал плечами и тонко намекнул, что экзаменаторам не удалось его провести. Ведь быть всюду первым – это так пошло! С мягким юмором он описывал одного из экзаменаторов – этакого педанта в ужасном воротничке, задававшего вопросы по логике; стояла невыносимая скучища, и вдруг Хейуорд заметил на экзаменаторе старомодные ботинки с резинками по бокам – это было так уродливо и смешно; он решил отвлечься от этого зрелища и стал думать о красоте готической часовни в Королевском колледже. Впрочем, он провел в Кембридже немало прелестных дней, давал превосходные обеды (ни у кого так не кормили!), а беседы, которые у него велись частенько, бывали очень интересными. Он процитировал Филипу изысканную эпиграмму: «Мне говорили, Гераклит, мне говорили, будто тебя уже нет на свете».

Рассказывая теперь – в который раз – забавную историю об экзаменаторе и его ботинках, он весело смеялся.

– Конечно, с моей стороны это было безрассудством, – говорил он, – но каким великолепным безрассудством!

Филип в восторге решил, что это было бесподобно.

После университета Хейуорд отправился в Лондон готовиться к адвокатуре. Он снял очаровательную квартирку в Клементс Инн – стены ее были отделаны панелью – и постарался обставить ее по образцу своих прежних комнат в Кембридже. Он подумывал о политической карьере, называл себя вигом и вступил в клуб с либеральным, но вполне аристократическим оттенком. Он намеревался стать адвокатом (правда, лишь по гражданским делам: они были не такие грубые) и получить в парламенте место от какого-нибудь тихого округа (как только его влиятельные друзья выполнят свои обещания); а пока что он прилежно посещал оперу и свел знакомство с избранным кругом очаровательных людей, любивших все то, что любил он. Он обедал в клубе, который провозгласил своим девизом: «Здоровье, польза, красота». У него завязалась платоническая дружба с дамой, бывшей на несколько лет старше его; она жила в аристократическом районе на Кенсингтон-сквер, и Хейуорд чуть не каждый вечер пил у нее чай при свечах; они беседовали о Джордже Мередите и Уолтерс Патере. Как известно, каждый дурак может стать адвокатом; вот Хейуорд и не утруждал себя науками. Когда же его провалили на экзаменах, он воспринял это как личное оскорбление. Как раз в это время дама с Кенсингтон-сквер сообщила ему, что ее супруг приезжает в отпуск из Индии и, будучи человеком хоть и достойным во всех отношениях, но весьма пошлых взглядов, может превратно понять частые посещения ее молодого друга. Жизнь показалась Хейуорду отвратительной; душа его бунтовала при одной мысли о новой встрече с циничными экзаменаторами, и он решил гордо отмести то, что лежало у его ног. К тому же он был в долгу как

[16] «Apologia pro Vita Sua» («Апология, или Оправдание моей жизни») – произведение английского религиозного деятеля кардинала Ньюмена (1801–1890).

в шелку: джентльмену нелегко было жить в Лондоне на триста фунтов в год; сердце влекло его в Венецию и Флоренцию – их так волшебно описал Джон Рескин. Поняв, что мало повесить на дверь дощечку с именем, чтобы обзавестись обширной практикой, Хейуорд решил, что он не создан для низменной суеты судейской профессии, а политике нынче не хватало благородства. Душой ведь он был поэт. Он уступил кому-то свою квартирку в Клементс Инн и отправился в Италию. Прожив зиму во Флоренции и еще одну зиму в Риме, он проводил второе лето за границей, на этот раз в Германии, чтобы научиться читать Гёте в подлиннике.

Хейуорд обладал редкостным даром. Он по-настоящему любил литературу и с удивительным красноречием умел заражать других своей страстью. Он мог увлечься каким-нибудь писателем, увидев все его лучшие стороны, и говорить о нем проникновенно. Филип много читал, но читал без разбору – все, что попадалось под руку, и теперь ему было полезно встретить человека, который мог развить его вкус. Он стал брать книги из маленькой городской библиотеки и читать все замечательные произведения, о которых говорил ему Хейуорд. Не всегда они доставляли ему удовольствие, но Филип читал с упорством. Он стремился к самоусовершенствованию и чувствовал себя невежественным и малоразвитым. К концу августа, когда Уикс вернулся из Южной Германии, Филип уже целиком подпал под влияние Хейуорда. Тому не нравился Уикс. Его шокировали черный пиджак и темно-серые брюки американца, и он презрительно пожимал плечами, говоря о его пуританской закваске. Филип спокойно слушал, как поносят человека, который отнесся к нему с редкой сердечностью; когда же Уикс, в свою очередь, отпускал неприязненные замечания по адресу Хейуорда, Филип выходил из себя.

– Уж больно ваш новый приятель смахивает на поэта, – сказал Уикс, насмешливо кривя рот, запавший от забот и огорчений.

– Он и есть поэт.

– Это он вам сказал? У нас в Америке его назвали бы ярко выраженным бездельником.

– Ну, мы не в Америке, – холодно заметил Филип.

– Сколько ему лет? Двадцать пять? А у него только и дела, что переезжать из одного пансиона в другой и кропать стишки.

– Вы же его не знаете, – гневно возразил Филип.

– Нет, знаю: я уже видел сто сорок семь таких, как он.

Глаза Уикса смеялись, но Филип, не понимавший американского юмора, недовольно надул губы. Уикс казался ему пожилым, хотя на самом деле американцу лишь недавно исполнилось тридцать. Он был высок, очень худ и сутулился, как человек, привыкший сидеть над книгами; большая и некрасивая голова с редкими соломенными волосами и землистым цветом лица, тонкие губы, длинный острый нос и выпуклый лоб придавали ему нескладный вид. Холодный и педантичный, словно в жилах у него текла не кровь, а вода, и чуждый страстей, он иногда проявлял удивительное озорство, приводившее в замешательство серьезных людей, среди которых он постоянно вращался. В Гейдельберге он изучал теологию, но остальные студенты-теологи его национальности относились к нему с опаской. Их пугало его свободомыслие, а его прихотливый юмор вызывал их осуждение.

– Где же вы могли видеть сто сорок семь таких, как он? – серьезно спросил Филип.

– Я встречал их в Латинском квартале в Париже и в пансионах Берлина и Мюнхена. Они живут в маленьких гостиницах в Перуджии и Ассизи. Их то и дело видишь у картин Боттичелли во Флоренции; они сидят на всех скамьях Сикстинской капеллы в Риме. В Италии они пьют слишком много вина, а в Германии – чересчур много пива. Они всегда восхищаются тем, чем принято восхищаться – что бы это ни было, – и на днях собираются написать великое произведение. Подумать только – сто сорок семь великих произведений покоятся в душе ста сорока семи великих мужей, но трагедия заключается в том, что ни одно

из этих ста сорока семи великих произведений никогда не будет написано. И на свете от этого ничего не меняется.

Уикс говорил серьезно, но к концу этой длинной речи его серые глаза смеялись; Филип понял, что американец над ним потешается, и покраснел.

– Вы мелете ужасный вздор, – сказал он сердито.

Глава 27

Уикс занимал две маленькие комнаты в задней части дома фрау Эрлин; одна из них служила гостиной и годилась для приема посетителей. После ужина он нередко приглашал к себе поболтать Филипа и Хейуорда; его толкало на это озорство, приводившее в отчаяние его друзей в Кембридже (штат Массачусетс). Он принимал обоих молодых людей с изысканной любезностью и усаживал их в самые удобные кресла. Сам он не пил, но с предупредительностью, в которой Филип чувствовал иронию, ставил возле Хейуорда парочку бутылок пива и упорно зажигал ему спички всякий раз, когда у того в пылу спора гасла трубка. В начале знакомства Хейуорд – воспитанник знаменитого университета в Кембридже – относился к Уиксу, окончившему всего-навсего Гарвардский университет, покровительственно; однажды, когда разговор коснулся греческой трагедии – предмета, в котором Хейуорд считал себя знатоком, – он принял важный вид и заговорил поучающим тоном. Уикс скромно его выслушал, вежливо улыбаясь; потом задал один или два безобидных на первый взгляд, но коварных вопроса; Хейуорд ответил с маху, не заметив расставленной ловушки; Уикс учтиво возразил, потом внес фактическую поправку, привел цитату из малоизвестного латинского комментария, сослался на один из немецких авторитетов – и выяснилось, что он человек, глубоко сведущий в этом вопросе. Со спокойной улыбкой, словно извиняясь, он не оставил камня на камне от рассуждений Хейуорда и с утонченной вежливостью доказал его дилетантизм. Он издевался над своим собеседником с мягкой иронией, и Филипу поневоле пришлось признать, что Хейуорд остался в дураках, а у того не хватило здравого смысла смолчать: выйдя из себя, но не утратив самонадеянности, он пытался продолжать спор и понес страшную дичь, Уикс дружелюбно стал его поправлять; Хейуорд цеплялся за ошибочные суждения, а Уикс доказывал их бессмысленность. Наконец Уикс признался, что преподавал в Гарварде греческую литературу. Хейуорд презрительно рассмеялся.

– Так я и думал, – сказал он. – Поэтому вы и читаете греков, как школяр. А я – как поэт.

– И вы считаете, что греческая литература становится более поэтичной, если не понимать ее смысла? А я-то думал, что только в Апокалипсисе неточное толкование подчас улучшает смысл.

В конце концов, допив пиво, Хейуорд покинул комнату Уикса разгоряченный и растрепанный; сердито махнув рукой, он сказал Филипу:

– Этот тип – просто педант. Он ничего не смыслит в прекрасном. Точность украшает только конторщика. Важно постичь дух древних греков. Уикс похож на оболтуса, который пошел на концерт Рубинштейна, а потом жаловался, что тот берет фальшивые ноты. Фальшивые ноты! Какое это имеет значение, если он играет божественно?

Филипу, не знавшему, сколько невежд утешало себя этими фальшивыми нотами, слова Хейуорда показались вполне убедительными.

Хейуорд никак не мог удержаться от попытки вернуть потерянные позиции, и Уикс без труда вовлекал его в спор. И, хотя Хейуорд не мог не видеть, как ничтожны его знания по сравнению с ученостью американца, его английская твердолобость и болезненное тщеславие (что, может быть, одно и то же) не позволяли ему отказаться от борьбы. Хейуорду, казалось, нравится демонстрировать свою безграмотность, самомнение и упрямство. Когда он изрекал какую-нибудь несуразность, Уикс кратко доказывал ошибочность его рассуждений, делал небольшую паузу, чтобы насладиться победой, а затем спешил перейти к другой теме, словно христианское милосердие повелевало ему щадить поверженного противника. Иногда Филип пытался вставить словечко, чтобы выручить друга; Уикс легко его сбивал, но отвечал очень мягко, совсем не так, как Хейуорду, – даже Филип со своей болезненной обидчивостью не мог почувствовать себя задетым. Временами Хейуорд, сознавая, что все

чаще и чаще остается в дураках, терял спокойствие; тогда он говорил грубости, и только неизменная вежливость американца не давала превратить спор в открытую ссору. Покинув комнату Уикса, Хейуорд ворчал сквозь зубы:

– Проклятый янки!

Он верил, что последнее слово осталось за ним. Это был лучший ответ на все неопровержимые доводы противника.

Хотя беседы в маленькой комнате Уикса начинались с самых разнообразных предметов, в конечном счете они всегда переходили на религию: для студента-теолога она представляла профессиональный интерес, а Хейуорд был рад всякой теме, которая не требовала знания грубых фактов; когда мерилом служит чувство, вам наплевать на логику, и это очень удобно, если вы не в ладах с логикой. Хейуорду трудно было изложить Филипу свой символ веры без помощи целого потока слов; выяснилось, однако, что он воспитан в духе законной англиканской церкви (так же, как, впрочем, и Филип). Правда, Хейуорда все еще привлекал католицизм, хотя он и отказался от мысли перейти в эту веру. Он не переставал его восхвалять, сравнивая пышные католические обряды с простыми богослужениями протестантов. Он дал прочесть Филипу «Апологию» Ньюмена, и хотя Филип нашел ее прескучной, но все-таки дочитал до конца.

– Читайте эту книгу ради стиля, а не ради содержания, – сказал Хейуорд.

Он восторгался музыкой ораторианцев[17] и высказывал остроумные догадки о связи между набожностью и ладаном. Уикс слушал его с ледяной улыбкой.

– Вы думаете, если Джон-Генри Ньюмен хорошо писал по-английски, а кардинал Мэннинг обладал представительной внешностью, это доказывает правоту католической религии? – спросил он.

Хейуорд намекнул, что вопросы веры стоили ему немало душевных мук. Целый год он блуждал в беспросветном мраке. Проведя рукой по своим светлым вьющимся волосам, он заявил, что даже за пятьсот фунтов стерлингов не согласился бы снова пережить такую моральную пытку. К счастью, он наконец обрел покой.

– Но во что же вы верите? – спросил Филип, которого никогда не удовлетворяли туманные намеки.

– Я верю в Здоровье, Пользу и Красоту, – с важным видом изрек Хейуорд; его крупное, ладное тело и гордо посаженная голова выглядели очень картинно.

– Так вы и определили бы вашу религию во время переписи? – мягко осведомился Уикс.

– Ненавижу точные определения: они так безобразно прямолинейны. Если хотите, я могу сказать, что моя религия – это религия герцога Веллингтона и мистера Гладстона.

– Но это же и есть англиканская церковь, – вставил Филип.

– О мудрый юноша! – возразил Хейуорд с улыбкой, заставившей Филипа покраснеть: тот почувствовал, что сказал пошлость, выразив обыденными словами сложную метафору собеседника. – Да, я принадлежу к англиканской церкви. Но я люблю золото и шелка, в которые облачен католический священник, меня привлекают обет безбрачия, исповедальня и чистилище; в таинственном полумраке итальянского собора, пропитанном ладаном, я всей душой верю в таинство пресуществления. В Венеции я видел одну рыбачку – она босиком вошла в церковь и упала на колени перед мадонной; бросив корзину с рыбой, она стала молиться; да, вот это была подлинная вера, и я молился и верил вместе с этой женщиной. Но я верю также и в Афродиту, и в Аполлона, и в великого бога Пана.

У Хейуорда был бархатный голос; он говорил, выбирая слова и словно скандируя. Он бы говорил еще, но Уикс откупорил вторую бутылку пива.

– Выпейте лучше, – сказал он.

---

[17] Одна из католических конгрегаций, основанная в Англия в XVI веке.

Хейуорд обратился к Филипу с тем слегка снисходительным жестом, который производил неотразимое впечатление на юношу.

– Теперь вы удовлетворены? – спросил он.

Сбитый с толку, Филип признал, что он удовлетворен.

– Жаль, что вы не добавили сюда немножечко буддизма, – сказал Уикс. – Сам я, сознаюсь, испытываю некую склонность к Магомету; обидно, что вы его обошли.

Хейуорд рассмеялся; в тот вечер он был настроен благодушно, отзвук округлых фраз все еще приятно отдавался у него в ушах. Он опорожнил свой стакан.

– Я и не ожидал, что вы меня поймете, – ответил он. – Вы с вашим холодным американским рассудком можете меня только осудить. Вы ведь бредите Эмерсоном и тому подобное. Но что такое осуждение? Это чисто разрушительное начало; разрушать может каждый, но не каждый может созидать. Вы, дорогой мой, педант. Созидание – вот что важнее всего, а я – созидатель, я – поэт.

Уикс глядел на Хейуорда как будто серьезно, но глаза его весело смеялись.

– Не обижайтесь, но мне кажется, что вы чуть-чуть опьянели.

– Самую малость, – бодро ответил Хейуорд. – Далеко не достаточно для того, чтобы вы могли победить меня в споре. Но, послушайте, я раскрыл вам свое сердце; теперь скажите, в чем ваша вера.

Уикс склонил голову набок, словно воробей на жердочке.

– Я раздумываю об этом уже много лет. Кажется, я – унитарий[18].

– Но ведь они же сектанты, – сказал Филип.

Он так и не понял, почему оба они расхохотались – Хейуорд раскатисто, а Уикс, потешно пофыркивая.

– А в Англии сектантов не считают джентльменами? – спросил Уикс.

– Что же, если вы спросите моего мнения, они и в самом деле не джентльмены, – сердито ответил Филип.

Он терпеть не мог, когда над ним смеялись, а они засмеялись снова.

– А вы мне объясните, пожалуйста, что такое джентльмен, – спросил Уикс.

– Ну, как вам сказать… кто же этого не знает?

– Ну, вот вы – джентльмен?

На этот счет у Филипа никогда не было сомнений, но он знал, что о себе так говорить не полагается.

– Если кто-нибудь сам называет себя джентльменом, можно держать пари, что он им никогда не был, – возразил он.

– А я джентльмен?

Правдивость мешала Филипу прямо ответить на этот вопрос, но он был от природы вежлив.

– Вы совсем другое дело, – сказал он. – Вы же американец.

– Значит, мы пришли к выводу, что джентльменами могут быть только англичане? – совершенно серьезно произнес Уикс.

Филип не стал возражать.

– А вы не можете мне назвать еще какие-нибудь отличительные признаки джентльмена? – спросил Уикс.

Филип покраснел, но, все больше сердясь, уже не думал о том, что выставляет себя на посмешище.

– Могу назвать их сколько угодно. – «Нужно три поколения, чтобы создать одного джентльмена», – говорил его дядя; это было его любимой поговоркой, так же как и «не суйся

[18] Унитарий – протестантская секта, исповедующая Бога в одном, а не в трех лицах.

с суконным рылом в калашный ряд». – Во-первых, для этого надо быть сыном джентльмена, затем надо окончить одно из закрытых учебных заведений, а потом Оксфорд или Кембридж…

– Эдинбургский университет, верно, не подойдет? – ввернул Уикс.

– И еще для этого надо говорить по-английски, как джентльмен, и одеваться как следует, и уметь отличать джентльмена от неджентльмена…

Чем дальше Филип говорил, тем менее убедительным все это казалось ему самому, но ничего не поделаешь: именно это он и подразумевал под словом «джентльмен». Да и все, кого он знал, подразумевали под этим словом то же самое.

– Теперь мне ясно, что я не джентльмен, – сказал Уикс. – Непонятно, почему же вы так удивились, что я сектант.

– Я плохо себе представляю, что такое унитарий, – сказал Филип.

Уикс по привычке снова склонил голову набок: казалось, он вот-вот зачирикает.

– Унитарий совсем не верит в то, во что верят другие, зато он горячо верит неизвестно во что.

– Зачем вы надо мной смеетесь? – спросил Филип. – Мне в самом деле хотелось бы знать, что такое унитарий.

– Дорогой друг, я вовсе над вами не смеюсь. Я пришел к этому определению после долгих лет упорного труда и напряженных, мучительных раздумий.

Когда Филип и Хейуорд встали, чтобы разойтись по своим комнатам, Уикс протянул Филипу небольшую книгу в бумажной обложке.

– Вы, кажется, уже бегло читаете по-французски. Надеюсь, это вам доставит удовольствие.

Филип поблагодарил и, взяв книгу, посмотрел на ее заглавие. Это была «Жизнь Иисуса» Ренана.

Глава 28

Ни Хейуорду, ни Уиксу и в голову не приходило, что беседы, помогавшие им скоротать вечер, служили потом Филипу пищей для бесконечных размышлений. Он раньше и не подозревал, что религия может стать предметом обсуждения. Для него религия – это англиканская церковь, а неверие в ее догматы свидетельствовало о непокорности, за которую полагалась неизбежная кара – либо здесь, либо на том свете. Он, правда, питал кое-какие сомнения насчет наказания неверных. Не исключена была возможность, что всевышний судия, ввергнув в геенну огненную язычников – магометан, буддистов и прочих, – смилостивится над сектантами и католиками (зато как они будут унижены, поняв свои заблуждения!); допустимо было, что он окажет милосердие и тем, кто не имел возможности познать истину, хотя миссионерские общества развернули такую деятельность, что мало кто мог сослаться на свое невежество. Но, если у человека была возможность приобщиться к истинной вере и он ею пренебрег (а к этой категории все же принадлежали и католики и сектанты), – тогда кара была неизбежной и заслуженной. Еретик явно был в незавидном положении. Может быть, Филипа и не учили всему этому дословно, но ему внушили убеждение, что только последователи англиканской церкви могут питать твердую надежду на вечное блаженство.

И уж во всяком случае, Филипу говорили не таясь, что всякий неверующий – человек злой и порочный. А Уикс, хотя и вряд ли верил в то, во что верил Филип, вел непорочную жизнь истинного христианина. Филип редко чувствовал к себе участие, и его трогала готовность американца протянуть ему руку помощи; однажды, когда Филип простудился и три дня пролежал в постели, Уикс ухаживал за ним, как родная мать. В нем не было ни злобы, ни пороков, а одна лишь душевность и доброта сердечная. Значит, можно было быть добродетельным и в то же время неверующим.

Филипу внушали, что люди исповедуют другие религии из чистого упрямства или же из корысти: в душе своей они знают, что вера их – ложная, но умышленно пытаются совратить других. Изучая немецкий язык, он в воскресные дни посещал лютеранские богослужения, а после приезда Хейуорда стал ходить вместе с ним к обедне. Филип заметил, что протестантская церковь всегда пустовала и ее прихожане слушали богослужение с рассеянным видом, зато католический храм был переполнен, и паства, казалось, молилась от всей души. И она вовсе не походила на сборище лицемеров. Это его удивляло: ведь он твердо знал, что лютеране, чья религия сродни англиканской, были ближе к истине, чем католики. Большинство католиков – среди них преобладали мужчины – были уроженцами Южной Германии; Филип вынужден был признать, что, родись он сам в Южной Германии, он тоже, наверно, был бы католиком. А ведь он легко мог родиться в католической стране, а не в Англии; да и в Англии он мог бы появиться на свет в баптистской или методистской семье, а не в семействе, которое, к счастью, принадлежало к государственной церкви.

У него даже дух захватывало, когда он думал об опасности, которой так счастливо избежал. Филип сдружился с маленьким китайцем, с которым дважды в день сидел за столом. Его звали Сун. Он постоянно улыбался, был приветлив и вежлив. Странно было подумать, что ему суждено жариться в аду только потому, что он китаец. Если же спасение было возможно независимо от того, к какой религии человек принадлежит, в чем тогда преимущество англиканской церкви?

Совершенно запутавшись, Филип обратился к Уиксу. С ним надо было соблюдать осторожность – Филип так боялся насмешек; к тому же едкая ирония, с которой американец относился к англиканской церкви, приводила его в замешательство. Но Уикс только озадачил его еще больше. Он заставил Филипа признать, что немцы из Южной Германии были столь же твердо убеждены в истинности римско-католической веры, как сам он – в англи-

канской; отсюда Уикс логически привел Филипа к мысли, что магометане и буддисты тоже искренне верят по-своему. Следовательно, убеждение в своей правоте еще ничего не доказывает: все убеждены в своей правоте. Уикс не имел намерения подрывать веру юноши, но он питал глубокий интерес к религии и считал ее увлекательной темой для беседы. Он говорил правду, утверждая, что самым искренним образом не верит почти ничему, во что верят другие. Однажды Филип задал ему вопрос, который слышал от дяди, когда в доме священника зашла речь об одной умеренно рационалистической книге, о которой тогда спорили в газетах:

– Но почему же правы именно вы, а не такие люди, как святой Ансельм или святой Августин?

– Вы намекаете на то, что они были люди мудрые и ученые, тогда как обо мне вы бы этого не могли сказать?

– Да, – подтвердил Филип неуверенно, поскольку поставленный таким образом вопрос звучал дерзко.

– Святой Августин полагал, что Земля плоская и что Солнце вертится вокруг Земли.

– Ну, и что же это доказывает?

– А то, что каждый верит вместе со своим поколением. Ваши святые жили в религиозный век, когда люди верили даже тому, что сейчас нам кажется совершенно неправдоподобным.

– Тогда откуда же вы знаете, что теперь мы постигли истину?

– Я этого не знаю.

Филип подумал, а потом сказал:

– Может, то, во что мы твердо верим сейчас, так же ошибочно, как и то, во что они верили в свое время?

– Вполне возможно.

– Тогда как же можно верить во что бы то ни было?

– Не знаю.

Филип спросил Уикса, что он думает о религии Хейуорда.

– Люди всегда создавали себе богов по собственному образу и подобию, – ответил Уикс. – Хейуорд верит в красивенькое.

Наступило молчание.

– Не знаю, почему вообще нужно верить в Бога, – вдруг сказал Филип.

Едва успел он это произнести, как понял, что больше не верит. У него захватило дух, как будто он прыгнул в холодную воду. Он испуганно посмотрел на Уикса. Им овладел страх. Он поторопился уйти. Ему захотелось побыть одному. Это было самое сильное потрясение, какое он когда-либо пережил. Он старался додумать все до конца; он был очень взволнован – ведь на карту поставлена вся его жизнь (ему казалось, от этого зависит его будущее), а ошибка могла навеки отдать его во власть диавола. Но чем больше он размышлял, тем глубже становилось его неверие; в последующие недели он с жадностью набросился на книги, укреплявшие его сомнения, но они лишь повторяли то, что он уже и сам почувствовал. Собственно говоря, он перестал верить не по какой-то определенной причине, а просто потому, что склад характера у него не был религиозный. Веру ему навязали извне. Она была внушена ему окружающей обстановкой и людьми. Новая обстановка и новые люди помогли ему обрести самого себя. Он расстался с верой своего детства совсем просто, сбросил ее с плеч, как сбрасывают ненужный больше плащ. Без веры, которая, хотя он и не отдавал себе в этом отчета, все же служила ему постоянной опорой, жизнь сперва показалась ему неприютной и одинокой. Он чувствовал себя как привыкший опираться на палку человек, у которого ее вдруг отняли. Даже дни стали как будто холоднее, а ночи тоскливее. Но душевный подъем придавал ему силы; жизнь стала теперь куда более интересной, а скоро и отня-

тая палка и скинутый плащ показались ему невыносимым бременем. Религиозные обряды, которые он столько лет выполнял, были для него неотделимы от религии. Он вспоминал, сколько молитв и посланий ему приходилось зубрить наизусть; томительные богослужения в соборе, во время которых каждый мускул ныл от желания встать и размяться; грязную ночную дорогу в приходскую церковь Блэкстебла и стужу, стоявшую в этом унылом здании, – у него коченели ноги и немели от холода пальцы, а кругом стоял тошнотворный запах помады. Ох, как ему было скучно! Сердце его колотилось от радости при мысли о том, что он свободен от всего этого навсегда.

Его удивляло, с какою легкостью он простился с верой, и, не зная, что это было лишь проявлением его «я», приписывал происшедшую в нем перемену своему здравому смыслу. Он возгордился не в меру. С юношеской нетерпимостью он презирал Уикса и Хейуорда за то, что те цеплялись за туманное ощущение чего-то, что они звали богом, и не могли решиться на последний шаг, казавшийся ему теперь таким простым. Однажды он в одиночестве взобрался на один из окрестных холмов, чтобы полюбоваться знакомым видом, который, неизвестно почему, всегда наполнял его восторгом. Наступила осень, но дни еще стояли безоблачные и небо сияло ослепительным светом – словно природа хотела излить всю свою страсть сполна в последние погожие дни. Он глядел вниз, на простертую под ним, мерцающую в лучах солнца долину: вдалеке видны были крыши Маннгейма, а совсем на горизонте, как в тумане, – Вормс. То там, то тут жарко вспыхивали воды Рейна. Весь бескрайний простор сверкал чистым золотом. Стоя на холме с бьющимся от радости сердцем, Филип подумал о том, как искуситель стоял на вершине рядом с Иисусом и показывал ему царства земные. Опьяневшему от красоты Филипу чудилось, что перед ним раскинулся весь мир, и он жаждал сойти к нему и насладиться им. Он был свободен от унизительной боязни божьего суда и от предрассудков. Он мог идти своей дорогой, не страшась геенны огненной. И вдруг он понял, что сбросил с себя тяжкое бремя ответственности, придававшей значительность каждому его поступку. Ему дышалось свободнее, да и самый воздух стал легче. За все свои поступки он отвечал теперь только перед самим собой. Свобода! Наконец-то он действительно стал сам себе хозяином. И по старой привычке он возблагодарил Бога за то, что перестал в него верить.

Охмелев от сознания собственной зрелости и бесстрашия, Филип решил начать новую жизнь. Но утрата веры меньше отразилась на его поступках, чем он ожидал. Хоть он и отбросил христианские догматы, но и не думал отрицать христианскую мораль: ему были по душе христианские добродетели, и он хотел следовать им, не помышляя о награде или наказании. В доме фрау профессорши трудно было найти повод для проявления героизма, но он стал еще правдивее, чем прежде, и заставлял себя быть особенно внимательным к скучным, перезрелым дамам, порою затевавшим с ним беседу. Он тщательно избегал крепких словечек и даже вполне цензурной и столь принятой в Англии ругани, которой прежде злоупотреблял, чтобы показать, какой он взрослый.

Разрешив этот мучительный вопрос к полному своему удовольствию, он решил выбросить его из головы, что легче было сказать, чем сделать; порой его терзали сожаления, которые он не в силах был подавить, и страхи, от которых трудно было отделаться. Он был так молод и у него было так мало друзей, что бессмертие не очень его манило и он мог расстаться с верой в него без сожалений; но одна мысль делала его глубоко несчастным: он ругал себя за безрассудство, смеялся над своей сентиментальностью, но слезы и впрямь выступали у него на глазах, когда он думал о том, какая красивая была у него мать, а он ее никогда уже больше не увидит, хотя любовь ее становилась для него с каждым годом все дороже и нужнее. Иногда в нем просыпался голос множества набожных и богобоязненных предков, и его охватывал панический страх: а что, если все, чему его учили, все-таки правда и где-то там, в синих небесах, сидит ревнивый Бог, карающий вечным пламенем безбожников? В такие

минуты рассудок был бессилен ему помочь: он живо представлял себе весь ужас физических страданий, которым не будет конца; он слабел от страха и покрывался холодным потом. Тогда он твердил себе в полном отчаянии:

> «В конце концов я не виноват. Не могу же я насильно заставить себя верить! Если Бог все-таки есть и он накажет меня за то, что я искренне перестал в него верить, – тут уж ничего не поделаешь».

Глава 29

Настала зима. Уикс уехал в Берлин слушать лекции Паульсена, а Хейуорд стал подумывать об отъезде на юг. Местный театр начал давать представления. Филип и Хейуорд посещали их два-три раза в неделю с похвальным намерением усовершенствоваться в немецком языке; Филип нашел, что это куда более приятный способ изучать язык, чем слушая проповеди. Начинался расцвет новой драмы. В репертуаре было несколько пьес Ибсена; «Честь» Зудермана – тогда еще новинка – взбудоражила тихий университетский городок; одни ее непомерно хвалили, другие ожесточенно ругали. Прочие драматурги тоже писали в новом духе, и Филип увидел ряд спектаклей, разоблачавших человеческую низость. До сих пор Филип никогда не бывал в театре (в Блэкстебл иногда заглядывали жалкие странствующие труппы, но священник не посещал спектакли, боясь осквернить свой сан и считая театр зрелищем для черни); теперь юноша страстно увлекся сценой. Переступая порог маленького, убогого, плохо освещенного театрика, он испытывал трепет. Вскоре он уже хорошо знал небольшую труппу и по распределению ролей мог заранее угадать характеры действующих лиц, но это его не смущало. Для него на сцене шла подлинная жизнь. Жизнь странная, мрачная и мучительная, в которой мужчины и женщины показывали безжалостному взору зрителя все зло, которое таилось у них в душе: за красивой внешностью гнездился разврат; добродетель служила маской для тайных пороков; люди, казалось бы, мужественные трепетали от малодушия; честные были продажными, целомудренные – похотливыми. Вас словно приводили в комнату, где прошлой ночью шла оргия; окна с утра еще не открывались, воздух был пропитан запахом прокисшего пива, табака и светильного газа. Тут было не до смеха. Разве изредка усмехнешься над участью глупца или лицемера. Герои изъяснялись жестокими словами, казалось, они исторгнуты из их сердец стыдом и страданиями.

Филипа увлекали эти низменные страсти. Он словно видел мир заново, по-другому, и ему не терпелось познать этот мир. После спектаклей они заходили с Хейуордом в пивную, где были свет и тепло; они съедали по бутерброду, запивая его стаканом пива. Кругом сидели, болтая и смеясь, компании студентов, а за некоторыми столиками – целые семьи: отец, мать, сыновья и дочь; порою дочь отпускала острое словцо, и отец откидывался на стуле, хохоча от души. Все тут выглядело мило и безобидно, дышало каким-то домашним уютом, но Филип не замечал ничего вокруг. Мысли его все еще были поглощены спектаклем.

– Ведь это и есть жизнь, правда? – говорил он с возбуждением. – Знаете, я, кажется, не смогу здесь дольше оставаться. Хочется уехать в Лондон и жить по-настоящему. Хочется испытать все. Мне так надоело готовиться к жизни – пора наконец начать жить.

Иногда Хейуорд предоставлял Филипу добираться до дому одному. Он никогда толком не отвечал на жадные расспросы Филипа, отделываясь глуповатым смешком и намекая на какую-то любовную интрижку; цитировал строчки Россетти и как-то показал Филипу сонет, в котором поминались страсть и багрец, меланхолия и пафос, – и все это посвящалось некой молодой даме по имени Труда. Хейуорд любил окружать свои пошлые, незамысловатые похождения ореолом поэзии, воображая, будто ничем не уступает Периклу и Фидию, раз называет свою подружку греческим «hetaira»[19], а не более грубым и точным английским словом. Однажды днем любопытство привело Филипа в переулок возле старого моста, застроенный опрятными белыми домиками с зелеными ставнями, где, по словам Хейуорда, жила его Труда; но из дверей выглядывали женщины с хищными лицами и накрашенными щеками и зазывали его. Филипа охватил страх, и он в ужасе бежал от их грубых и цепких объятий. Ему так хотелось познать жизнь, что он чувствовал себя смешным, не испытав еще в свои

[19] Гетера.

годы того, что, как писали в книгах, было самым важным в человеческой жизни; но, обладая злосчастным даром видеть вещи такими, какие они есть, он отступал перед действительностью, которая так резко отличалась от его идеала.

Он еще не знал, какую бескрайнюю, каменистую, полную опасности пустыню приходится преодолеть путешественнику по жизни, прежде чем он придет к примирению с действительностью. Ведь это иллюзия, будто юность всегда счастлива, – иллюзия тех, кто давно расстался с юностью; молодые знают, сколько им приходится испытывать горя, ведь они полны ложных идеалов, внушенных им с детства, а придя в столкновение с реальностью, они чувствуют, как она бьет их и ранит. Молодежи начинает казаться, что она стала жертвой какого-то заговора: книги, подобранные для них взрослыми, где все так идеализировано, разговоры со старшими, которые видят прошлое сквозь розовую дымку забвения, – все это готовит их к жизни, совсем непохожей на действительность. Молодежи приходится открывать самой, что все, о чем она читала и о чем ей твердили, – ложь, ложь и ложь; а каждое такое открытие – еще один гвоздь, пронзающий юное тело, распятое на кресте человеческого существования. Удивительнее всего, что тот, кто сам пережил горькое разочарование, в свою очередь, помимо воли, поддерживает лживые иллюзии у других. Для Филипа не могло быть ничего вреднее дружбы с Хейуордом. Это был человек, который не видел жизни своими глазами, а постигал ее только через книги и был вдвойне опасен тем, что убедил себя в своей искренности. Он непритворно принимал свою похоть за возвышенные чувства, слабодушие – за непостоянство артистической натуры, лень – за философское спокойствие. Ум его, пошлый в своих потугах на утонченность, воспринимал все в чуть-чуть преувеличенном виде, расплывчато, сквозь позолоченный туман сентиментальности. Он лгал, не зная, что лжет, а когда другие в этом его попрекали, говорил, что ложь прекрасна. Словом, он был идеалист.

Глава 30

Филип потерял покой. Намеки Хейуорда смутили его воображение; душа его жаждала романтики. Так он по крайней мере себя уверял.

К тому же в доме фрау Эрлин произошло событие, которое еще больше разожгло его интерес к женщине. Бродя по холмам в окрестностях города, он несколько раз встречал фрейлейн Цецилию – она гуляла в одиночестве. Поклонившись, он шел дальше и в нескольких шагах от нее встречал китайца. Филип не придавал этому значения, но однажды вечером, когда уже стемнело, он обогнал по пути домой две фигуры, которые шли, тесно прижавшись друг к другу. Услышав его шаги, они быстро отпрянули в разные стороны, и, хотя в темноте нельзя было их разглядеть, он узнал Цецилию и Суна. Их поспешное движение говорило о том, что раньше они шли под руку. Филип был озадачен. Он никогда не обращал внимания на фрейлейн Цецилию. Это была невзрачная девушка с грубыми чертами лица. Ей не могло быть больше шестнадцати, ее длинные светлые волосы все еще были заплетены в косу. В тот вечер за ужином он посмотрел на нее с любопытством; последнее время фрейлейн Цецилия была не очень разговорчива за столом, но на этот раз обратилась к нему с вопросом:

– Где вы сегодня гуляли, герр Кэри?

– Я поднимался на Кёнигсштуль.

– А я вот никуда не выходила, – почему-то сообщила она. – У меня болела голова.

Сидевший рядом с ней китаец повернул голову.

– Какая жалость, – сказал он. – Надеюсь, вам сейчас лучше?

Фрейлейн Цецилии было явно не по себе, она снова заговорила с Филипом:

– А по дороге вы встречали много народу?

Как и всегда, когда ему приходилось лгать, Филип густо покраснел.

– Нет, я не встретил ни души.

Ему показалось, что она вздохнула с облегчением.

Вскоре, однако, всем стало ясно, что между этими двумя существует какая-то близость: обитатели дома фрау профессорши стали замечать, как они шепчутся в темных углах. Престарелые дамы, сидевшие во главе стола, принялись обсуждать назревающий скандал. Фрау профессорша сердилась и нервничала. Она изо всех сил делала вид, что ничего не замечает. Близилась зима, и найти пансионеров было не так легко, как летом. Герр Сун был хорошим жильцом: он занимал две комнаты в первом этаже и за обедом выпивал бутылку мозельского. Профессорша брала с него по три марки за бутылку и неплохо на этом зарабатывала. Никто из других гостей не пил вина, а многие не пили даже пива. Не хотелось ей терять и фрейлейн Цецилию, чьи родители имели торговое дело в Южной Америке и хорошо оплачивали материнские заботы фрау профессорши; стоит ей написать о том, что происходит, дяде девушки, живущему в Берлине, и он немедленно увезет Цецилию. Фрау профессорша ограничилась тем, что за столом бросала на парочку суровые взгляды и, не смея грубить китайцу, отводила душу, грубя Цецилии. Но трем престарелым дамам этого было мало. Две из них были вдовами, а третья, голландка по национальности, – мужеподобной старой девой; они платили за пансион гроши, а хлопот доставляли хоть отбавляй, но зато были постоянными жиличками, и с ними приходилось считаться. Они явились к фрау профессорше и заявили, что необходимы какие-то меры; дело принимало неприличный оборот, и пансион мог приобрести дурную славу. Фрау профессорша пыталась упорствовать, сердиться, пустила в ход слезы, но три старые дамы одержали верх; почувствовав наконец прилив благородного негодования, фрау профессорша заявила, что сумеет положить этому конец.

После обеда она увела Цецилию к себе в спальню, чтобы серьезно с ней поговорить; к ее удивлению, девушка держалась вызывающе; она намерена вести себя так, как ей вздума-

ется, и, если ей угодно ходить на прогулки с китайцем, кому какое дело? Фрау профессорша пригрозила написать дяде.

– Ну что ж, Onkel Heinrich[20] поместит меня на зиму в какой-нибудь семейный дом в Берлине, для меня это будет даже лучше. А герр Сун тоже переедет в Берлин.

Фрау профессорша расплакалась; слезы катились по ее шершавым, красным, жирным щекам, а Цецилия только смеялась.

– Это значит, что зимой у вас будут пустовать три комнаты, – сказала она.

Тогда фрау профессорша решилась применить другой метод. Она воззвала к лучшим чувствам фрейлейн Цецилии; она стала доброй, рассудительной, терпимой; она говорила с девушкой не как с ребенком, а как со взрослой женщиной. Она сказала, что все это не выглядело бы так страшно, если бы он не был китайцем – подумать только, мужчина с желтой кожей, плоским носом и маленькими поросячьими глазками! Вот что ужасно. Даже подумать противно!

– Bitte, bitte[21], – сказала Цецилия, немножко задыхаясь. – Я не желаю слушать о нем гадости.

– Но это же не серьезно? – ахнула фрау Эрлин.

– Я люблю его. Люблю его. Люблю его.

– Gott im Himmel![22]

Фрау профессорша растерянно на нее уставилась; она-то думала, что это детский каприз, невинное увлечение, но страсть, звучавшая в голосе девушки, выдавала ее с головой. Цецилия поглядела на нее пылающим взором, а потом, передернув плечами, вышла из комнаты.

Фрау Эрлин никому не обмолвилась ни словом о подробностях этой беседы, но спустя день или два пересадила всех за столом. Герра Суна она попросила сесть рядом с собой, и тот сразу же согласился со свойственной ему вежливостью. Цецилия приняла этот новый распорядок равнодушно. Но, убедившись, что их отношения все равно известны, они словно совсем лишились стыда: перестали держать в секрете свои прогулки и каждый день после обеда открыто отправлялись в горы. Им было безразлично, что́ о них говорят. В конце концов даже профессор Эрлин потерял свою невозмутимость и настоял на том, чтобы его жена поговорила с китайцем. Она увела его к себе и принялась увещевать: он-де губит репутацию девушки, наносит урон всему дому, он и сам должен видеть, как предосудительно себя ведет. Но китаец улыбался и все отрицал; герр Сун ведать не ведал, о чем она толкует, он и не думал ухаживать за фрейлейн Цецилией, он никогда не ходил с ней гулять; все, что она рассказывает, – неправда, все, до последнего слова.

– Ах, герр Сун, как вы можете так говорить? Вас столько раз видели вместе.

– Нет, вы ошибаетесь. Это неправда.

Он глядел на нее, не переставая улыбаться, показывая ровные белые зубки. Он был безмятежно спокоен. И продолжал все отрицать, отрицать с вежливым бесстыдством. В конце концов фрау профессорша вышла из себя и сказала, что девушка призналась, что любит его. Это на него нисколько не подействовало. Он по-прежнему улыбался.

– Чепуха! Чепуха! Все это неправда.

Фрау профессорша так ничего и не добилась. Тем временем испортилась погода; выпал снег, начались заморозки, а потом наступила оттепель и потянулась вереница безрадостных дней – прогулки перестали доставлять удовольствие. Однажды вечером после урока немец-

[20] Дядя Генрих (*нем.*).

[21] Прошу вас, прошу вас (*нем.*).

[22] Владыко небесный! (*нем.*)

кого с герром профессором Филип задержался на минуту в гостиной, болтая с фрау Эрлин; в комнату торопливо вошла Анна.

– Мама, где Цецилия? – спросила она.

– Наверно, в своей комнате.

– Там темно.

Фрау профессорша вскрикнула и с тревогой поглядела на дочь. Ей пришла в голову та же мысль, что и Анне.

– Позвони Эмилю, – произнесла она охрипшим от волнения голосом.

Эмиль был тот увалень, который прислуживал за столом и выполнял почти всю работу по дому. Он явился.

– Эмиль, ступай в комнату герра Суна, войди туда без стука. Если там кто-нибудь есть, скажи, что ты пришел затопить печку.

Флегматичное лицо Эмиля не выразило удивления.

Не спеша, он спустился по лестнице. Фрау профессорша и Анна оставили двери открытыми и стали ждать. Вскоре они услышали, что Эмиль возвращается наверх, и позвали его.

– Там кто-нибудь есть? – спросила фрау профессорша.

– Да, герр Сун у себя.

– А он один?

Рот слуги растянулся в плутоватой улыбке.

– Нет, у него фрейлейн Цецилия.

– Какой срам! – вскричала фрау профессорша.

Эмиль широко осклабился.

– Фрейлейн Цецилия каждый вечер там. Она не выходит от него часами.

Фрау профессорша принялась ломать руки.

– Какой ужас! Почему же ты мне ничего не сказал?

– А мне-то какое дело? – ответил он, спокойно пожимая плечами.

– Наверно, они хорошо тебе заплатили. Пошел вон. Ступай.

Он неуклюже затопал к двери.

– Мама, они должны уехать, – сказала Анна.

– А кто будет платить аренду? Скоро надо вносить налоги. Легко говорить: они должны уехать. Если они уедут, я не знаю, чем расплачиваться по счетам. – Она повернулась к Филипу, заливаясь слезами. – Ах, герр Кэри, не говорите никому ни слова. Если фрейлейн Фёрстер – это была голландка, старая дева, – если фрейлейн Фёрстер об этом узнает, она немедленно от нас уедет. А если все разъедутся, придется закрыть дом. Мне не на что будет его содержать.

– Разумеется, я ничего не скажу.

– Если она останется, я не буду с ней разговаривать, – заявила Анна.

Фрейлейн Цецилия вовремя пришла ужинать, но щеки ее были румянее обычного, а лицо выражало упрямство; герр Сун, однако, долго не показывался, и Филип уже решил, что он струсил. Наконец он пришел и, широко улыбаясь, извинился за опоздание. Как всегда, он заставил фрау профессоршу выпить бокал своего мозельского; он предложил вина и фрейлейн Фёрстер. Было жарко: печь топилась целый день, а окна открывали редко. Эмиль двигался по комнате, как медведь, но ухитрялся прислуживать быстро и аккуратно. Три старые дамы сидели молча, всем своим видом выражая осуждение; фрау профессорша еще не успела прийти в себя, супруг ее был молчалив и озабочен. Беседа не клеилась. Знакомые лица показались сегодня Филипу какими-то зловещими, все словно преобразились при свете двух висячих ламп; на душе у него была тревога. Встретившись взглядом с Цецилией, он прочел в ее глазах ненависть и вызов. Духота становилась невыносимой. Казалось, что плотская страсть этой пары волнует всех присутствующих, что самый воздух дышит похотью

Востока, благовонными курениями, тайными пороками. Филип ощущал, как кровь пульсирует у него в висках. Он не мог понять охватившего его чувства: в нем было что-то томящее, но в то же время отталкивающее и страшное.

Так тянулось несколько дней. Атмосфера была отравлена противоестественной страстью, нервы у всех были напряжены до предела. Один только герр Сун оставался невозмутимым; он так же улыбался и был таким же вежливым, как всегда; трудно было сказать, что означало его поведение: торжество более высокой цивилизации или презрение Востока к побежденному Западу. Цецилия вела себя дерзко. В конце концов даже фрау профессорша не смогла этого дольше вынести. Профессор Эрлин с грубой прямотой объяснил ей возможные последствия этой связи, протекавшей у всех на глазах; фрау профессорша пришла в ужас: она увидела, что неминуемый скандал погубит ее доброе имя и репутацию пансиона. Ослепленная погоней за наживой, она почему-то никогда не задумывалась над такой возможностью; теперь она совсем потеряла голову от страха, и ее с трудом удержали от того, чтобы она тут же не выбросила девушку на улицу. Только благодаря здравому смыслу Анны удалось предотвратить открытый скандал; было написано осторожное письмо берлинскому дядюшке: ему предлагали взять Цецилию к себе.

Но, решившись расстаться с двумя жильцами, фрау профессорша не смогла устоять перед искушением дать волю своему бешенству, которое она так долго сдерживала. Теперь-то она могла выложить Цецилии все, что у нее накипело.

– Я написала твоему дяде, Цецилия, чтобы он тебя забрал, – сказала она. – Я больше не могу держать тебя у себя в доме.

Ее маленькие круглые глаза засверкали, когда она заметила, как побледнела девушка.

– Стыда у тебя нет. Бесстыдница, – сказала она и стала осыпать девушку ругательствами.

– Что вы написали дяде Генриху? – спросила та, сразу же потеряв всю свою независимость.

– Ну, знаешь, об этом он скажет тебе сам. Завтра я жду от него ответа.

На следующий день она объявила Цецилии за ужином, чтобы унизить ее перед всеми:

– Я получила от твоего дяди письмо. Ты сегодня же вечером уложишь вещи, и завтра утром мы посадим тебя в поезд. Дядя встретит тебя в Берлине на Центральном вокзале.

– Хорошо.

Герр Сун улыбался госпоже профессорше, глядя ей прямо в глаза, и, невзирая на ее протесты, налил ей бокал вина. Фрау профессорша ела в тот вечер с завидным аппетитом. Но ее торжество было преждевременным. Ложась спать, она позвала слугу.

– Эмиль, если сундук фрейлейн Цецилии уложен, ты сейчас же снесешь его вниз. Носильщик придет за ним перед завтраком.

Слуга ушел, но сразу же вернулся.

– Фрейлейн Цецилии нет в комнате и ее чемодана тоже.

Фрау профессорша с воплем кинулась в комнату девушки: на полу стоял запертый и стянутый ремнями сундук, но чемодан исчез; исчезли также и пальто и шляпа фрейлейн Цецилии. На туалете было пусто. Тяжело дыша, фрау профессорша бросилась вниз, в комнаты китайца – лет двадцать ей не доводилось бегать так проворно. Эмиль кричал ей вдогонку, чтобы она поостереглась и не свалилась с лестницы. Она ворвалась к герру Суну без стука. Комнаты были пусты. Вещей его тоже не было, и раскрытая дверь в сад позволяла догадаться, как их вынесли. В конверте на столе лежали деньги за пансион и на оплату дополнительных расходов. Внезапно лишившись сил, фрау профессорша со стоном плюхнулась на диван. Сомнений не было: парочка сбежала. Эмиль был бесстрастен и равнодушен, как всегда.

Глава 31

Хейуорд уже целый месяц твердил, что завтра уезжает на юг, но откладывал отъезд с недели на неделю: ему было лень собирать вещи, и его страшила дорожная скука; наконец под самое Рождество его выжили приготовления к празднику. Самая мысль об увеселениях этих тевтонов была ему невыносима. Мороз подирал по коже, когда он думал об их шумном, горластом празднестве, и, стремясь от него улизнуть, он решил пуститься в путь в самый сочельник.

Его отъезд не опечалил Филипа: он был человек последовательный, и его раздражало, когда кто-нибудь не знал, чего хочет. Хотя он и находился под сильным влиянием Хейуорда, он никак не мог согласиться с ним, что нерешительность – свидетельство тонкой душевной организации; его злила усмешка, с которой Хейуорд взирал на его прямолинейность. Они стали переписываться. Хейуорд отлично писал письма и, зная за собой этот дар, не жалел на них сил. Он был восприимчив к красоте и в своих письмах из Рима умел передать тонкий аромат Италии. По его мнению, столица древних римлян была чуть-чуть вульгарна – эпоха упадка Римской империи была куда благороднее; но особенно близок был ему папский Рим, и в его изощренно-отточенных фразах оживала изысканная прелесть стиля рококо. Он писал о старинной церковной музыке и об Альбанских горах, о томящем запахе ладана и о прелести ночных улиц в дождливую пору, когда мостовая блестит в таинственном свете уличных фонарей. Может быть, он переписывал свои изящные письма по нескольку раз, адресуя их разным приятелям. Он не представлял себе, как волновали эти письма Филипа; жизнь стала казаться ему такой унылой. С наступлением весны Хейуорд стал изливаться в дифирамбах Италии. Он звал туда Филипа. Оставаться в Гейдельберге было пустой тратой времени. Немцы – люди грубые, а жизнь в Германии так тривиальна; можно ли обрести величие духа, глядя на чопорный ландшафт? В Тоскане весна пригоршнями рассыпала цветы, а Филипу всего девятнадцать лет; пусть он приедет – они пойдут бродить по горным селениям Умбрии. Звучные итальянские слова отзывались в сердце Филипа. Цецилия и ее любовник тоже поехали в Италию. Вспоминая о них, Филип испытывал непонятное беспокойство. Он проклинал судьбу за то, что у него не было денег на путешествие: он знал, что дядя ни за что не пошлет ему больше пятнадцати фунтов в месяц, о которых они договорились. Да и эти деньги он тратил не слишком-то разумно. Плата за пансион и за уроки поглощала их почти целиком, а общество Хейуорда обходилось ему недешево. Хейуорд часто подбивал его отправиться куда-нибудь подальше на прогулку, сходить в театр или предлагал распить бутылочку винца, когда деньги Филипа уже были истрачены; юношеское легкомыслие не позволяло ему признаться приятелю, что он не может разрешить себе такую роскошь.

К счастью, письма Хейуорда приходили довольно редко, и в промежутках между ними Филип продолжал трудолюбиво заниматься. Он был принят в университет и ходил на лекции. Куно Фишер находился на вершине славы и читал в ту зиму блестящий курс о Шопенгауэре. Лекции Куно Фишера стали для Филипа введением в философию. Обладая практическим умом, он с трудом разбирался в абстракциях, но неожиданно почувствовал интерес к метафизике; порой у него захватывало дух: эти упражнения напоминали ему канатоходца, показывающего опасные трюки над пропастью, – так это было увлекательно. Пессимизм шопенгауэровской философии покорял его молодой ум; он поверил, что мир, в который он готовился вступить, был юдолью безысходной скорби и мрака. Тем не менее он горел желанием вступить в этот мир, и, когда миссис Кэри написала ему по поручению опекуна, что пора возвращаться в Англию, он с радостью согласился. Теперь ему предстояло решить, кем он хочет стать. Если он уедет из Гейдельберга в конце июля, они смогут в августе обсудить его дела, а осенью он начнет устраиваться на новом поприще.

День его отъезда был уже назначен, когда он получил новое письмо от миссис Кэри. Она напомнила ему о мисс Уилкинсон, благодаря которой он попал в дом фрау Эрлин; мисс Уилкинсон собиралась погостить несколько недель в Блэкстебле. Она должна сесть на пароход во Флашинге в такой-то день, и если он тронется в путь одновременно с нею, то поможет ей в дороге и они приедут в Блэкстебл вместе. Застенчивость заставила Филипа сразу же написать, что он выедет не раньше, чем через два дня после мисс Уилкинсон. Он представлял себе, как он будет ее разыскивать, как неловко ему будет подойти к незнакомой женщине и спросить, она это или не она (так легко было ошибиться и услышать в ответ грубость), как трудно будет решить в поезде, надо ли поддерживать с ней разговор или можно не обращать на нее внимания и читать книгу.

Наконец он простился с Гейдельбергом. Последние три месяца он думал только о будущем, а потому уезжал без сожаления. Он так и не понял, что был там счастлив. Фрейлейн Анна подарила ему «Der Trompeter von Säckingen»[23], а он оставил ей на память томик Уильяма Морриса. Но оба они были люди разумные и так и не попытались прочесть эти книги.

[23] «Зекингенский трубач» (*нем.*).

Глава 32

Увидев дядю и тетю, Филип был удивлен. Раньше он не замечал, что они такие старые. Священник встретил его с обычным – впрочем, в меру дружелюбным – равнодушием. Он еще больше потолстел, полысел и поседел. Филип теперь знал, что дядя – человек ничтожный. Черты его лица говорили о безволии и самовлюбленности. Тетя Луиза нежно обняла Филипа и расцеловала его со слезами радости. Филип был тронут и смущен; прежде он не сознавал, как горячо она его любит.

– Время тянулось без тебя так медленно, – сказала она сквозь слезы.

Она гладила его руки и заглядывала ему в лицо счастливыми глазами.

– Ты вырос. Ты теперь настоящий мужчина.

На его верхней губе чуть пробивались усы. Он купил бритву и время от времени очень осторожно сбривал пушок с гладкого подбородка.

– Мы так по тебе скучали, – сказала тетя. А потом робко, прерывающимся голосом спросила: – Ты рад, что вернулся домой?

– Да, конечно.

Она была так худа, что выглядела почти прозрачной; руки, которыми она обвила его шею, были хрупки, как косточки цыпленка, а ее увядшее личико покрыто густой сетью морщин. Седые кудряшки, которые она все еще носила по моде своей юности, придавали ей странный, трогательный вид; ее маленькое высохшее тело было как осенний лист – казалось, его унесет первый резкий порыв ветра. Филип понял, что эти два маленьких, незаметных человека уже отошли от всего; они принадлежали к прежнему поколению и теперь терпеливо, с какой-то тупой покорностью ожидали смерти; и он, в расцвете молодости и сил, сгорая от жажды необыкновенных приключений, с ужасом глядел на эти зря прожитые жизни. Эти люди ничего не свершили, и, когда уйдут, от них не останется и следа. Филип почувствовал острую жалость к тете Луизе и внезапно понял, что любит ее за то, что она любит его.

В комнату вошла мисс Уилкинсон, которая сперва из деликатности не показывалась, чтобы дать мистеру и миссис Кэри возможность поздороваться с племянником наедине.

– Познакомься с мисс Уилкинсон, Филип, – сказала миссис Кэри.

– Блудный сын вернулся под отчий кров, – произнесла та, протягивая руку. – Я принесла блудному сыну розу в петлицу.

С веселой улыбкой она приколола к лацкану Филипа цветок, сорванный ею в саду. Филип покраснел и почувствовал себя неловко. Он знал, что мисс Уилкинсон – дочь священника, у которого когда-то был помощником дядя Уильям. Дочерей священников он повидал на своем веку немало; все они носили плохо сшитые платья и грубую обувь. Одевались они, как правило, во все черное (в детские годы Филипа жены и дочери священнослужителей избегали ярких нарядов), волосы причесывали кое-как и распространяли вызывающий запах туго накрахмаленного белья. Женственность считалась у них чем-то неприличным; все они, старые и молодые, были похожи друг на друга и воинствующе религиозны. Близость к церкви побуждала их смотреть на все остальное человечество властно и несколько свысока.

Мисс Уилкинсон выглядела совсем иначе. На ней было платье из белого муслина с узором из серых цветов, на ногах ажурные чулки и остроносые туфли на высоких каблуках. Неопытному Филипу показалось, что одета она очень нарядно, – он не понимал, что ее платье отдает дешевым шиком. Волосы ее были тщательно причесаны, и посреди лба красовался туго закрученный локон – черный как смоль, жесткий и блестящий; казалось, ничто не может привести его в беспорядок. Глаза у нее были большие и черные, а нос слегка орлиный; в профиль она напоминала хищную птицу, однако, если смотреть на нее спереди, казалась даже привлекательной. Она часто улыбалась, но рот у нее был большой, и ей при-

ходилось прятать слишком крупные и желтые зубы. Но больше всего Филипа смутило то, что мисс Уилкинсон была густо напудрена: он придерживался весьма строгих взглядов на то, как должна вести себя женщина, и считал, что даме неприлично пудриться; однако мисс Уилкинсон, безусловно, была леди: ведь отец ее принадлежал к духовному званию, а всякий священник – джентльмен.

Филип решил, что мисс Уилкинсон ему определенно не нравится. Говорила она, неизвестно почему, с легким французским акцентом, хотя родилась и воспитывалась в самом сердце Англии. Ее улыбка показалась ему жеманной, ее кокетливые манеры его раздражали. Дня три он держался с ней сдержанно и враждебно, но мисс Уилкинсон этого как будто не замечала. Она была сама приветливость. Все ее речи были обращены почти к одному Филипу, и ему льстило, что она постоянно спрашивала его мнение. Она умела его рассмешить, а Филип был неравнодушен к людям, которые его забавляли; он и сам иногда любил сострить и радовался, встретив благодарного слушателя. А у священника и у миссис Кэри недоставало чувства юмора; они не смеялись, когда он шутил. Постепенно Филип привык к миссис Уилкинсон, перестал ее стесняться, и она начала ему нравиться; он уже находил ее французский акцент пикантным; к тому же на вечеринке у доктора она была одета куда лучше других. Ее синее фуляровое платье в крупную белую горошину произвело фурор, и Филипу это было приятно.

– Я уверен, что они вас осуждают, – сказал он ей со смехом.

– Всю жизнь мечтала, чтобы меня принимали за падшую женщину, – ответила она.

Как-то раз, когда мисс Уилкинсон была в своей комнате, Филип спросил тетю Луизу, сколько их гостье лет.

– Милый, никогда не спрашивай о возрасте дамы. Во всяком случае, она слишком стара, чтобы ты мог на ней жениться.

Священник вяло усмехнулся.

– Она, конечно, не девочка, – сказал он. – Была почти взрослой, когда мы жили в Линкольншире, а с тех пор лет двадцать прошло! Она тогда уже заплетала косу.

– Ей могло быть каких-нибудь десять лет, – заметил Филип.

– Ну, нет, куда больше, – сказала тетя Луиза.

– Пожалуй, ей было около двадцати, – настаивал священник.

– Нет, Уильям, шестнадцать, от силы – семнадцать.

– Значит, теперь ей уже за тридцать, – заключил Филип.

В эту минуту мисс Уилкинсон вприпрыжку сбежала по лестнице, напевая модную песенку; на ней была шляпка. Молодые люди собирались на прогулку, и мисс Уилкинсон протянула ему руку, чтобы он застегнул ей перчатку. Он это сделал довольно неуклюже. Ему было неловко, хотя и хотелось быть галантным. Теперь они уже разговаривали непринужденно и, гуляя, болтали обо всем на свете. Она рассказывала Филипу о Берлине, он ей – о годе, проведенном в Гейдельберге. Он говорил, и подробности, которым он прежде не придавал значения, приобретали новый смысл: он описал всех жильцов фрау Эрлин, а споры Хейуорда с Уиксом, которые в свое время казались ему такими интересными, чуть-чуть извратил, придав им какую-то нелепость. Смех мисс Уилкинсон льстил ему.

– А вас надо бояться, – сказала она. – Вы такой насмешник.

Потом она шутливо спросила, не было ли у него в Гейдельберге романов. Не задумываясь, он честно ответил, что не было, но она не хотела ему верить.

– Какой вы скрытный! – сказала она. – Кто же не заводит романов в ваши годы?

Он покраснел и рассмеялся.

– Вы слишком любопытны, – сказал он.

– Видите, я так и думала, – с торжеством засмеялась она. – Смотрите, как вы покраснели!

Ему было приятно, что она считает его донжуаном; он перевел разговор на другую тему, намекая тем самым, что ему есть что скрывать. Он сердился на себя за то, что у него не было любовных похождений. Просто не представилось подходящего случая.

Мисс Уилкинсон была недовольна своей участью. Ее возмущало, что приходится зарабатывать себе на хлеб, и она рассказала Филипу длинную повесть о каком-то дяде по материнской линии, который должен был оставить ей наследство, но вместо этого женился на своей кухарке и изменил завещание. В родительском доме ее будто бы окружала роскошь, и она сравнивала свое нынешнее зависимое положение с былой жизнью в Линкольншире, где к ее услугам были лошади для верховой езды и карета. Филип был несколько озадачен, когда, упомянув об этом тете Луизе, услышал, что, когда она познакомилась с Уилкинсонами, у них были всего-навсего маленькая тележка и пони. Тетя Луиза слышала и о богатом родственнике, но, поскольку он был женат и стал отцом семейства задолго до рождения Эмили, вряд ли та могла возлагать большие надежды на его наследство. О Берлине, где она сейчас служила, мисс Уилкинсон не могла сказать ничего хорошего. Жалуясь на пошлую жизнь в Германии, она сравнивала ее с блеском Парижа, где провела несколько лет. Она не уточняла, сколько именно. Там она служила гувернанткой в семье модного портретиста, женатого на богатой еврейке, и в их доме встречала немало знаменитостей. Филип был потрясен громкими именами, которые она называла. В доме частенько бывали актеры «Комеди Франсэз», и Коклен, сидя рядом с ней за обедом, говорил, что никогда не встречал иностранцев, которые так хорошо говорили бы по-французски. Бывал у них и Альфонс Доде, который подарил ей экземпляр «Сафо»; он обещал надписать ей книгу, но она позабыла ему об этом напомнить. Тем не менее книга ей дорога, и она даст прочесть ее Филипу. Бывал у них и Мопассан. Мисс Уилкинсон залилась серебристым смехом и многозначительно взглянула на Филипа. Какой мужчина и какой писатель! О Мопассане Филипу рассказывал и Хейуорд, так что его репутация была Филипу известна.

– Он за вами ухаживал? – спросил Филип.

Слова эти как-то странно застревали у него в горле, но он их все же выговорил. Мисс Уилкинсон ему все больше нравилась, и разговор с ней его занимал, но он все-таки не мог себе представить, чтобы за ней кто-нибудь ухаживал.

– Что за вопрос! – воскликнула она. – Бедненький Ги не пропускал ни одной юбки. Это вошло у него в привычку, он не мог с собою сладить.

Она вздохнула, будто с нежностью вспоминала прошлое.

– Ах, какой это был обаятельный человек, – прошептала она.

Будь у Филипа больше жизненного опыта, он бы представил себе с ее слов истинные обстоятельства этой встречи: знаменитого писателя пригласили на семейный обед; чинно входит гувернантка с двумя рослыми воспитанницами; ее представляют:

– Notre Miss Anglaise[24].

– Mademoiselle…[25]

А затем следовал обед, за которым «мисс» сидела, не произнося ни слова, в то время как знаменитый писатель болтал с хозяином и хозяйкой.

Но воображение молодого человека рисовало куда более романтическую картину.

– Расскажите мне о нем, – попросил Филип.

– Мне нечего рассказывать, – призналась она чистосердечно, но сказала это таким тоном, словно ей не хватило бы и трех томов, чтобы поведать все трагические подробности. – Много будете знать, скоро состаритесь.

[24] Наша англичанка (*фр.*).

[25] Мадемуазель… (*фр.*)

Она стала описывать ему Париж. Ах, как она любила Большие бульвары и Булонский лес! У каждой улицы там своя прелесть, а деревья на Елисейских полях изящнее всех деревьев на свете. Они уселись на камне у живой изгороди, и мисс Уилкинсон с презрением поглядывала на статные вязы, росшие по краям дороги. А парижские театры! Какие пьесы, как играют артисты!.. Она часто сопровождала мадам Фойо, мать своих воспитанниц, когда та ездила примерять новые туалеты.

– Вот несчастье быть бедной! – воскликнула она. – Видеть прекрасные вещи – только в Париже умеют одеваться – и не быть в состоянии их купить! Бедная мадам Фойо, у нее такая отвратительная фигура. Портниха мне часто шептала: «Ах, мадемуазель, если бы у нее была ваша фигура…»

Филип заметил, что мисс Уилкинсон обладает пышными формами и очень этим гордится.

– Мужчины в Англии ужасное дурачье, – продолжала она. – Им важно только лицо. Французы – у них умение любить в крови – отлично знают, насколько важнее фигура.

Филип прежде никогда не думал о таких вещах, но теперь обратил внимание, что лодыжки у мисс Уилкинсон толстые и некрасивые. Он быстро отвел глаза.

– Вам надо поехать во Францию. Почему бы вам не провести годик в Париже? Вы бы выучили французский язык, и там вас сумели бы déniaiser[26].

– Что? – спросил Филип.

Она лукаво засмеялась.

– Загляните в словарь. Англичане не умеют обходиться с женщинами. Они слишком робеют. Робость в мужчине ужасно комична. И ухаживать они тоже не умеют. Даже комплимента толком женщине не сделают.

Филип чувствовал себя дурак дураком. Мисс Уилкинсон явно ждала, что он станет вести себя по-другому; он и сам был бы рад сказать что-нибудь приятное и остроумное, но ему ничего не приходило в голову, а если и приходило, он так боялся показаться смешным, что не решался открыть рот.

– Люблю Париж! – вздохнула мисс Уилкинсон. – Но – увы! – пришлось переехать в Берлин. Я жила у Фойо, пока девочки не вышли замуж, а потом не могла найти другого места; тут подвернулась служба в Берлине, у родственников мадам Фойо, вот я и согласилась. В Париже у меня была маленькая квартирка на улице Бреда на пятом этаже; нельзя сказать, что это приличный район, – знаете, там живут ces dames[27].

Филип кивнул головой: он лишь смутно догадывался, на что намекает мисс Уилкинсон, но боялся, что она сочтет его совсем простаком.

– Но мне было все равно. Je suis libre, n'est-ce-pas?[28] – Она очень любила говорить по-французски и действительно говорила хорошо. – Как-то раз у меня там случилось забавное приключение…

Мисс Уилкинсон замолчала, и Филип стал упрашивать, чтобы она рассказала ему эту историю.

– Вы же скрываете от меня ваши приключения в Гейдельберге, – упрекнула его она.

– Они такие неинтересные, – возразил он.

– Что сказала бы миссис Кэри, если бы знала, о чем мы с вами болтаем?

– Уж не думаете ли вы, что я стану ей докладывать?

– Честное слово?

---

[26] Научить уму-разуму (*фр.*).

[27] Такие дамы (*фр.*).

[28] Я ведь свободна, правда? (*фр.*).

Когда он дал честное слово, она рассказала ему, как один начинающий художник, снимавший комнату этажом выше… – Тут она прервала себя.

– Почему бы вам не заняться живописью? Вы так мило рисуете.

– Довольно посредственно.

– Предоставьте об этом судить другим. Je m'y connais[29] и думаю, что из вас выйдет большой художник.

– А вы представляете себе, какое лицо сделает дядя Уильям, когда я вдруг заявлю, что хочу поехать в Париж учиться живописи?

– Но вы же сами себе хозяин?

– Вы хотите заговорить мне зубы. Пожалуйста, рассказывайте, что сделал ваш художник.

Рассмеявшись, мисс Уилкинсон продолжала свой рассказ. Молодой художник встречался ей на лестнице, но она не обращала на него внимания. Она только заметила, что у него красивые глаза и что он очень вежливо снимает перед нею шляпу. Но в один прекрасный день она нашла под дверью письмо. Оно было от «него». Он писал, что влюблен в нее уже давно и нарочно поджидает ее на лестнице. Ах, какое это было очаровательное письмо! Разумеется, она не ответила, но какая женщина не была бы польщена? А на следующий день пришло новое письмо. Изумительное, полное страсти, трогательное. Когда она снова встретила его на лестнице, она не знала, куда девать глаза. Письма приходили каждый день – теперь он просил свидания. Он писал, что придет вечером, vers neuf heures[30], и она не знала, что делать. Разумеется, это было невозможно, пусть он звонит сколько угодно, она ему все равно не откроет; но, когда она в смятении ждала звонка, он вдруг очутился перед нею. Она позабыла запереть за собой дверь.

– C'était une fatalité…[31]

– А что было потом? – спросил Филип.

– На этом кончается мой рассказ, – ответила она, заливаясь смехом.

Филип помолчал. Сердце его стучало, в груди теснились незнакомые раньше чувства. Он представил себе эти случайные встречи на темной лестнице, восхищался смелостью писем – нет, он никогда бы на это не решился, – а потом увидел безмолвное, загадочное появление незнакомца. Вот это настоящая романтика!

– Какой у него был вид?

– Он был красив. Charmant garçon[32].

– Вы с ним все еще поддерживаете знакомство?

Задавая вопрос, Филип вдруг почувствовал легкое раздражение.

– Он обошелся со мной очень гадко. Все мужчины одинаковы. Все вы бессердечны, все как один!

– Право, не знаю, – смущенно пробормотал Филип.

– Пора домой, – сказала мисс Уилкинсон.

---

[29] Я в этом кое-что смыслю (*фр.*).

[30] Часам к девяти (*фр.*).

[31] Это был рок (*фр.*).

[32] Прелестный мальчик (*фр.*).

Глава 33

Филип никак не мог забыть рассказ мисс Уилкинсон. Правда, она оборвала его на половине, но то, чего она не досказала, было и так ясно, и Филип почувствовал, что он шокирован. Это могла себе позволить замужняя женщина – Филип прочел немало французских романов и знал, что во Франции такое поведение казалось делом обычным, – но мисс Уилкинсон была не замужем, англичанка и к тому же дочь священника. Потом его осенила мысль, что молодой художник – по-видимому, не первый и не последний ее любовник, и у него даже дух захватило; никогда еще он не пробовал взглянуть на мисс Уилкинсон с этой стороны; он и не представлял себе, что с ней можно завести роман. По своей наивности он так же мало сомневался в правдоподобии ее рассказа, как и во всем, что прочел в книгах; он злился, что с ним никогда не случалось таких удивительных приключений. Стыдно было подумать, что, если мисс Уилкинсон снова потребует отчета о его похождениях в Гейдельберге, ему нечего будет ей рассказать. Правда, Филип обладал некоторым воображением, но все же он не надеялся убедить ее, будто погряз в пороках: женщины обладали такой дьявольской интуицией – он читал и об этом! – и она с легкостью обнаружит, что он привирает. Он краснел как рак при мысли о том, что она станет посмеиваться над ним исподтишка.

Мисс Уилкинсон играла на пианино и пела слегка надтреснутым голосом романсы Массне, Бенжамена Годара и Огюсты Ольмес; Филип их слышал впервые; вдвоем они проводили за пианино долгие часы. Как-то раз она спросила, есть ли у него голос, и пожелала это проверить. Сказав, что у него приятный баритон, она предложила давать ему уроки. Сначала, застеснявшись, он было отказался, но она настояла на своем и стала заниматься с ним каждое утро после завтрака. Мисс Уилкинсон была врожденным педагогом, и он почувствовал, какая она отличная гувернантка. В ее преподавании были система и настойчивость. Хотя она так привыкла говорить с французским акцентом, что никогда уже об этом не забывала, с нее сходила вся ее слащавость, как только начинался урок. Тут ей было не до глупостей. У нее появлялся повелительный тон, она пресекала малейшее невнимание и корила за неаккуратность. Она знала свое дело и заставляла Филипа петь гаммы и вокализы.

Когда кончался урок, она без всякого усилия снова принималась зазывно улыбаться, голос ее опять становился мягким и вкрадчивым, но Филипу не так легко было перестать чувствовать себя учеником, как ей – учительницей. Новое обличье мисс Уилкинсон не совпадало с тем образом, который создали ее рассказы. Он стал приглядываться к ней внимательнее. Она куда больше нравилась ему по вечерам. Утром на ее лице отчетливо видны были морщины, да и кожа на шее казалась дряблой. Ему бы хотелось, чтобы она не выставляла свою шею напоказ, но погода стояла жаркая и она носила блузки с большим вырезом. Ей нравилось одеваться в белые платья, но по утрам этот цвет был ей не к лицу. Вечером, надев нарядное платье и гранатовое ожерелье на шею, она казалась почти хорошенькой, кружева на груди и у локтя придавали ей мягкую женственность, а запах духов был волнующим и напоминал о дальних странах (в Блэкстебле никто не употреблял ничего, кроме одеколона, да и то лишь по воскресеньям или разве еще от головной боли). Мисс Уилкинсон тогда и в самом деле выглядела совсем молодой.

Филипа очень занимал ее возраст. Он складывал двадцать и семнадцать, и никак не мог удовлетвориться итогом. Не раз он допрашивал тетю Луизу, почему она думает, что мисс Уилкинсон уже тридцать семь лет: на вид ей не дашь больше тридцати; к тому же иностранки, как известно, стареют быстрее англичанок, а мисс Уилкинсон так долго жила за границей, что может сойти за иностранку. Лично он не дал бы ей больше двадцати шести.

– Нет, ей куда больше, – отвечала тетя Луиза.

Филип не верил своим дяде и тете. Им помнилось отчетливо лишь то, что мисс Уилкинсон носила косу, когда они жили в Линкольншире. Но ей могло быть тогда лет двенадцать: дело было так давно, а на память священника вообще нельзя было полагаться. Они утверждают, что с тех пор прошло двадцать лет, но люди любят округлять; может быть, прошло всего лет восемнадцать, а то и семнадцать. Семнадцать плюс двенадцать – всего-навсего двадцать девять, а это, черт возьми, еще не старость. Клеопатре было сорок восемь, когда Антоний ради нее отрекся от власти над миром.

Лето было чудесное. Изо дня в день стояла жаркая, безоблачная погода, но зной смягчался близостью моря; от него шла бодрящая свежесть, и августовское солнце совсем не утомляло. В саду был бассейн, в нем журчал фонтан и росли лилии, а у самой поверхности воды грелись на солнце золотые рыбки. После обеда Филип и мисс Уилкинсон, захватив из дому пледы и подушки, устраивались на лужайке в тени высокой изгороди из роз. Там они читали, болтали и курили – священник не выносил табачного дыма; он считал курение отвратительной привычкой и часто повторял к месту и не к месту, что стыдно быть рабом своих привычек. При этом он забывал, что сам был рабом своего пристрастия к чаю.

Однажды мисс Уилкинсон дала Филипу «La vie de Bohème»[33]. Она нашла книгу случайно, роясь в шкафу священника: мистер Кэри купил ее у букиниста заодно с другими книгами и целых десять лет не открывал.

Филип принялся читать увлекательный, плохо написанный и нелепый шедевр Мюрже и сразу почувствовал его обаяние. Его покорила пестрая картина беззаботного недоедания, живописной нужды, не слишком целомудренной, но такой романтической любви и трогательная смесь высоких чувств и обыденного. Родольф и Мими, Мюзетта и Шонар! Одетые в причудливые костюмы времен Луи-Филиппа, они бродят по узким улицам Латинского квартала, находя убежище то в одной, то в другой мансарде, улыбаясь и проливая слезы, беспечные и безрассудные. Кто перед ними устоит? Лишь перечтя эту книгу в зрелости, вы увидите, как грубы их развлечения и пошлы их души, тогда вы почувствуете, как никчемен весь этот веселый хоровод, поймете, до чего ничтожны они как художники и как люди.

Филип бредил этой книгой.

– Разве вы не хотели бы поселиться в Париже вместо Лондона? – спросила мисс Уилкинсон, посмеиваясь над его восхищением.

– Сейчас уже поздно, даже если бы я и хотел, – ответил он.

Целые две недели после того, как он вернулся из Германии, они с дядей обсуждали его будущее. Он окончательно отказался поступать в Оксфорд, и сейчас, когда исчезли все виды на получение стипендии, даже мистер Кэри пришел к выводу, что Филипу это не по средствам. Ему досталось от родителей всего две тысячи фунтов, и, хотя они были помещены в закладные, приносившие пять процентов в год, он не мог свести концы с концами, не трогая основного капитала. Теперь его состояние немного уменьшилось. Было бы глупо целых три года тратить по двести фунтов – университетская жизнь в Оксфорде обошлась бы ему не дешевле – и в конце концов по-прежнему не иметь доходной профессии. Он горел нетерпением отправиться в Лондон. Миссис Кэри считала, что для джентльмена были возможны только четыре профессии: армия, флот, суд и церковь. К этому списку она соглашалась добавить медицину, поскольку ее зять был врачом, но не могла забыть, что в дни ее молодости никто не считал врача джентльменом. Первые две профессии для Филипа были закрыты, а священником он сам наотрез отказывался стать. Оставалась профессия юриста. Местный врач заметил, что многие джентльмены идут теперь в инженеры, но миссис Кэри решительно воспротивилась.

– Мне не хотелось бы, чтобы Филип стал ремесленником, – сказала она.

[33] «Жизнь богемы» (*фр.*).

– Нет, он должен получить настоящую профессию, – откликнулся и священник.

– Почему бы ему не сделаться врачом, как его отец?

– Ни за что, – сказал Филип.

Миссис Кэри этот отказ не огорчил. Адвокатура тоже как будто отпадала, поскольку он не собирался поступать в Оксфорд, а семейство Кэри было убеждено, что для успеха в этой области требовался диплом. В конце концов возникла мысль отдать его в учение к юристу. Было послано письмо Альберту Никсону – поверенному, который вел дела их семьи; вместе с блэкстеблским священником он был душеприказчиком покойного Генри Кэри; в письме спрашивали, не возьмет ли он Филипа в ученье. Через несколько дней пришел ответ, что у мистера Никсона нет вакансий и он решительно возражает против всей затеи в целом: юристов и так слишком много, и без капитала или связей в этой профессии невозможно пробиться выше должности старшего клерка; Филипу имеет смысл стать присяжным бухгалтером. Ни священник, ни его супруга понятия не имели, что это такое, да и Филип никогда не слышал о присяжных бухгалтерах. Но в следующем письме их поверенный объяснил, что рост современной торговли и промышленности и развитие акционерных обществ привели к созданию многочисленных бухгалтерских фирм для проверки расчетных книг и наведения в финансовых делах клиентов порядка, отсутствовавшего в старые времена. Несколько лет назад бухгалтеры получили королевские привилегии, и с тех пор с каждым годом эта профессия становилась все более уважаемой, процветающей и влиятельной. В бухгалтерской фирме, которая вот уже тридцать лет вела финансовые дела Альберта Никсона, как раз освободилась вакансия ученика, и ее готовы были предоставить Филипу за вознаграждение в триста фунтов стерлингов. Половина этой суммы возвращалась ему в течение пятилетнего обучения в виде жалованья. Будущее было не бог весть каким блестящим, но Филип сознавал, что ему надо на что-то решиться, а страстное желание жить в Лондоне побеждало все его сомнения. Священник запросил мистера Никсона, подходящая ли это профессия для джентльмена; мистер Никсон ответил, что после получения привилегий в бухгалтеры пошли люди, учившиеся в закрытых учебных заведениях и даже в университете; больше того, если работа Филипу не понравится и через год ему захочется уйти, Герберт Картер – так звали владельца бухгалтерской фирмы – готов вернуть половину денег, внесенных за учение. Это решило вопрос; условились, что Филип приступит к работе пятнадцатого сентября.

– У меня впереди целый месяц, – сказал Филип.

– И затем вы обретете свободу, а я вернусь к своему рабству, – заметила мисс Уилкинсон.

У нее был полуторамесячный отпуск, и она должна была уехать из Блэкстебла за день или за два до отъезда Филипа.

– Встретимся мы с вами когда-нибудь еще или нет? – добавила она.

– А почему бы нам не встретиться?

– Ах, не говорите об этом так прозаично. Никогда еще не видела более бесчувственного человека.

Филип покраснел: он боялся показаться мисс Уилкинсон молокососом. В конце концов она женщина молодая, иногда даже хорошенькая, а ему уже скоро двадцать лет; глупо только и делать, что беседовать об искусстве и литературе. Ему надо за ней поухаживать. Они столько говорили о любви. Она рассказала ему о молодом художнике с улицы Бреда и о портретисте, в семье которого так долго жила в Париже: этот попросил ее позировать, но с первого же сеанса стал так назойливо к ней приставать, что ей пришлось придумывать всякие отговорки, чтобы не оставаться с ним наедине. Мисс Уилкинсон, по-видимому, привыкла к вниманию мужчин. Сейчас она выглядела очень мило в соломенной шляпке с большими полями: день был жаркий – самый жаркий за все лето, – и на верхней губе у нее выступили капельки пота. Он вспомнил фрейлейн Цецилию и герра Суна. Филипу никогда не нрави-

лась Цецилия как женщина – уж очень она была некрасива; но задним числом эта история казалась очень романтичной. Теперь вот и ему подвернулся случай завести интрижку. Мисс Уилкинсон была почти француженкой, и это придавало флирту с ней особую пикантность. Думая о мисс Уилкинсон по ночам в постели или же в саду над книгой, Филип чувствовал какое-то волнение, но стоило мисс Уилкинсон появиться, и роман с ней уже не казался ему таким заманчивым.

Во всяком случае, после того, что она ему рассказывала, ее вряд ли удивит, если он станет за ней ухаживать. Он подозревал, что она считает его просто чудаком и не понимает, почему он не делает никаких попыток; быть может, ему только кажется, но раза два за последние дни он прочел в ее глазах презрение.

– О чем вы задумались? – с улыбкой спросила мисс Уилкинсон.

– Не скажу, – ответил он.

Он думал, что ему надо тут же ее поцеловать, сразу! Интересно, хочет она этого или нет; и все же он не представлял себе, как можно взять да и поцеловать женщину – просто так, без всяких предисловий. Она еще подумает, что он взбесился, даст ему пощечину или пожалуется дяде. Интересно, как начинал ухаживать за фрейлейн Цецилией герр Сун. Вот будет номер, если она скажет дяде; он знал дядюшку и не сомневался, что тот сразу же поделится новостью с доктором и с Джозией Грейвсом – ну и болваном же будет тогда выглядеть Филип! Тетя Луиза не переставала твердить, что мисс Уилкинсон не меньше тридцати семи лет; он дрожал при мысли о том, что станет посмешищем всей округи, – чего доброго, еще скажут, будто она ему в матери годится!

– А все-таки о чем вы задумались? – улыбнулась мисс Уилкинсон.

– О вас, – храбро ответил он.

Во всяком случае, эти слова его ни к чему не обязывали.

– Что же вы обо мне думали?

– Вот и не скажу.

– Ах, негодник! – воскликнула мисс Уилкинсон.

Вот всегда так! Стоит ему собраться с духом, как она произносит слово, сразу напоминающее ему, что она – гувернантка. Когда он фальшиво поет гаммы, она тоже, шутя, зовет его негодником.

На этот раз он даже надулся.

– Прошу вас, – произнес он, – не обращайтесь со мной, как с ребенком.

– Вы сердитесь?

– Очень.

– Я вовсе не хотела вас обидеть.

Она протянула руку, и он ее пожал. Несколько раз за последнее время, когда они прощались перед сном, ему чудилось, что она слегка пожимает его руку; сейчас в этом не могло быть сомнений.

Он не знал, как быть дальше. Наконец-то ему подвернулся удобный случай; он будет последним дураком, если не воспользуется им; но все было не так, как он себе представлял, – проще, прозаичнее. В книгах он часто встречал описания любовных сцен, в себе же он не ощущал ничего похожего на половодье чувств, изображаемое авторами романов; страсть не кружила ему голову, да и мисс Уилкинсон не была его идеалом; он часто представлял себе огромные синие глаза и белоснежную кожу неведомой красавицы; воображал, как погружает лицо в густые, волнистые пряди ее каштановых волос. Но разве можно было погрузить лицо в волосы мисс Уилкинсон – они всегда казались ему какими-то липкими. И все же хорошо было бы завести интрижку; он уже заранее ощущал законную гордость, которую принесет ему эта победа. Он был обязан ее соблазнить. И он решил непременно поцеловать мисс

Уилкинсон, правда, не сейчас, а вечером: в темноте будет легче; ну а дальше все пойдет как по маслу. Решено: он ее сегодня же поцелует. Филип дал себе клятву, что он ее поцелует.

Филип выработал план кампании. После ужина он предложил ей пройтись по саду. Мисс Уилкинсон согласилась, и они стали прогуливаться. Филип нервничал. Не известно почему, разговор никак не принимал нужного оборота; он решил раньше всего обнять ее за талию; но как это сделать, если она говорит о парусных состязаниях, назначенных на будущую неделю? Он коварно привел ее в самый темный уголок сада, но, когда они там очутились, мужество его покинуло. Потом они сели на скамейку, и стоило ему убедить себя, что настала решительная минута, как мисс Уилкинсон заявила, будто тут водятся уховертки, и они двинулись дальше. Они снова обошли весь сад, и Филип дал себе слово, что перейдет в атаку, прежде чем они дойдут до дальней скамейки, но возле дома их окликнула с порога миссис Кэри:

– Не лучше ли вам, молодые люди, вернуться? Ночью прохладно, вы можете простудиться.

– Может, и в самом деле лучше пойти домой? – сказал Филип. – Я вовсе не хочу, чтобы вы простудились.

У него невольно вырвался вздох облегчения. Все равно сегодня ничего не выйдет. Но позже, в своей комнате, он страшно на себя обозлился. Ну и дурак! Он ничуть не сомневался, что мисс Уилкинсон ждала его поцелуя – зачем бы она пошла с ним в сад? Недаром она всегда повторяла, что только французы умеют ухаживать за женщинами. Филип читал французские романы. Будь он французом, он схватил бы ее в объятия, страстно объяснился в любви и впился губами в ее затылок. Непонятно, почему французы всегда целуют дам в затылок? Лично он не видел в затылках ничего привлекательного. Конечно, французам куда легче вести себя таким образом – один французский язык чего стоит! Филип никак не мог отделаться от ощущения, что на английском языке любовные признания звучат как-то нелепо. Сейчас он уже сожалел, что затеял осаду мисс Уилкинсон и ее добродетели; первые две недели они провели так весело, а теперь его гнетет вся эта история. Но он не намерен сдаваться, не то он потеряет к себе всякое уважение; Филип бесповоротно решил, что завтра вечером поцелует ее во что бы то ни стало.

Проснувшись на другое утро, он увидел, что идет дождь; первая его мысль была о том, что они не сумеют вечером пойти в сад. За завтраком он был в отличном настроении. Мисс Уилкинсон передала через Мэри-Энн, что у нее болит голова и она останется в постели. Она спустилась только к вечернему чаю – бледная, в премиленьком капоте; но к ужину совсем поправилась, и за столом было очень весело. После молитвы мисс Уилкинсон заявила, что сразу ляжет спать и, прощаясь, поцеловала миссис Кэри. Затем она повернулась к Филипу.

– Боже мой! – вскричала она. – Я чуть было не поцеловала и вас тоже.

– Почему же вы этого не сделали? – спросил он.

Она засмеялась и протянула ему руку. Он совершенно отчетливо почувствовал ее пожатие.

На следующий день в небе не было ни облачка, а сад после дождя был полон благоухания и прохлады. Филип пошел на пляж, а вернувшись домой после купания, пообедал за двоих. После обеда ожидали гостей, чтобы поиграть в теннис, и мисс Уилкинсон надела свое лучшее платье. Она в самом деле умела одеваться, и Филип не мог не заметить, как изящно она выглядела рядом с женой помощника священника и замужней дочерью врача. Она приколола две розы к корсажу и сидела в плетеном кресле возле корта, раскрыв красный зонтик, – ее лицо было очень выгодно освещено. Филип любил играть в теннис. Несмотря на хорошую подачу, ему приходилось играть у самой сетки, так как бегал он неуклюже; но там хромота не мешала ему, и он редко пропускал мяч. На этот раз он остался очень доволен

тем, что выиграл все партии. Когда принесли чай, Филип, разгоряченный после игры, еще с трудом переводя дух, растянулся у ног мисс Уилкинсон.

– Вам идет спортивный костюм, – сказала она. – Вы сегодня очень мило выглядите.

Филип покраснел от удовольствия.

– Могу от души вернуть вам комплимент. Вы выглядите просто очаровательно.

Она улыбнулась и подарила его долгим взглядом.

После ужина Филип настоял на вечерней прогулке.

– Разве вы мало набегались за день? – спросила она.

– Ночью в саду так чудесно. Все небо в звездах.

Он был в превосходном настроении.

– Знаете, миссис Кэри бранила меня из-за вас, – сказала мисс Уилкинсон, когда они шли по огороду. – Она говорит, что мне не следует с вами флиртовать.

– А разве вы со мной флиртуете? Я и не заметил.

– Она пошутила.

– С вашей стороны было жестоко не поцеловать меня вчера вечером.

– Если бы вы только видели, как на меня взглянул ваш дядюшка!

– Только это вам и помешало?

– Я предпочитаю целоваться без свидетелей.

– Здесь никого нет.

Филип обнял ее за талию и поцеловал в губы. Она тихонько рассмеялась и не сделала попытки вырваться. Все получилось совершенно естественно. Филип был очень горд. Он сказал, что поцелует ее, и поцеловал. Это оказалось совсем просто – проще всего на свете. Жаль, что он не сделал этого раньше. Он поцеловал ее снова.

– Не надо, – сказала мисс Уилкинсон.

– Почему?

– Потому, что мне это нравится, – рассмеялась она.

Глава 34

На следующий день после обеда они снова вынесли к фонтану пледы, подушки и книги, но читать не стали. Мисс Уилкинсон устроилась поудобнее и раскрыла свой красный зонтик. Филип совсем перестал робеть, но сперва она не позволяла ему себя поцеловать.

– Вчера вечером я плохо себя вела, – сказала она. – Я даже уснуть потом не могла от угрызений совести.

– Какие глупости! – воскликнул он. – Я уверен, что вы спали как убитая.

– А что скажет ваш дядя, если узнает?

– Зачем ему знать?

Он наклонился к ней, и сердце его забилось.

– Почему вам хочется меня поцеловать?

Он знал, что ему следует ответить: «Потому, что я вас люблю». Но он не мог из себя этого выдавить.

– А как вы думаете? – спросил он уклончиво.

Глаза у нее улыбались, и она дотронулась пальцами до его лица.

– Какая у вас нежная кожа, – прошептала она.

– Что вы, мне давно пора бриться, – ответил он.

Романтические объяснения давались ему с удивительным трудом. Он обнаружил, что молчание помогает ему больше слов. Глаза у него умели выражать многое. Мисс Уилкинсон вздохнула.

– А я вам хоть немножко нравлюсь?

– Ужасно нравитесь.

Когда он снова сделал попытку ее поцеловать, она больше не сопротивлялась. Он прикидывался куда более влюбленным, чем был на самом деле, и ему удалось разыграть роль, на его взгляд, вполне успешно.

– Я вас начинаю бояться, – сказала мисс Уилкинсон.

– Вы пойдете гулять после ужина, да? – упрашивал он.

– Если вы пообещаете вести себя как следует.

– Я пообещаю вам все, что хотите.

Он зажигался от огня, который сам же в себе раздувал; за вечерним чаем веселье било в нем через край. Мисс Уилкинсон поглядывала на него с беспокойством.

– Пожалуйста, не смотрите на меня такими сияющими глазами, – сказала она ему позже. – Что подумает ваша тетушка?

– А мне все равно, что она подумает.

Мисс Уилкинсон тихонько рассмеялась от удовольствия. Сразу же после ужина он попросил ее:

– Я пойду выкурить папироску, составьте мне компанию.

– Да не мучай ты мисс Уилкинсон, – сказала миссис Кэри. – Не забудь, что она старше тебя, ей надо отдохнуть.

– Что вы, я с удовольствием пройдусь, – ледяным тоном отозвалась мисс Уилкинсон.

– После обеда гуляй, после ужина отдыхай, – назидательно произнес священник.

– Тетушка ваша очень мила, но иногда она действует мне на нервы, – сказала мисс Уилкинсон, как только они перешагнули через порог.

Филип тут же бросил зажженную папиросу и обнял ее. Она попыталась его отстранить.

– Вы же обещали вести себя как следует.

– Неужели вы думали, что я сдержу такое обещание?

– Не так близко от дома. Вдруг кто-нибудь выйдет.

Он повел ее на огород, где никто не мог появиться в этот час, и тут мисс Уилкинсон уже не испугалась уховерток. Он целовал ее с жаром. Его всегда удивляло, почему она совсем не нравилась ему по утрам и не слишком нравилась днем, но зато вечером его волновало малейшее прикосновение ее руки. Он произносил слова, которые ему и в голову бы не пришли при свете солнца: он сам прислушивался к ним с удивлением и не без удовольствия.

– Оказывается, вы мастер ухаживать за дамами, – сказала она.

Он и сам так думал.

– Ах, если бы я мог выразить все, что у меня на сердце, – страстно прошептал он.

Все шло превосходно. Это была самая увлекательная игра, какую он знал, и прелесть ее заключалась в том, что он говорил почти искренне. Он только чуть-чуть преувеличивал. Его чрезвычайно занимало впечатление, которое его слова оказывали на мисс Уилкинсон. Ей явно пришлось сделать над собой усилие, когда она наконец предложила вернуться домой.

– Не уходите, – стал он упрашивать.

– Надо, – проговорила она. – Я боюсь.

Его вдруг осенило: он понял, как ему надо поступить.

– Я не могу идти домой. Посижу немного, приду в себя. У меня горит лицо. Спокойной ночи.

Он печально протянул ей руку, и она пожала ее без слов. Ему почудилось сдавленное рыдание. Это было великолепно! Когда, выждав положенное время и поскучав наедине с самим собой в темном саду, он вернулся в дом, мисс Уилкинсон уже отправилась спать.

После этого между ними возникли новые отношения. В ближайшие два дня Филип вел себя, как нетерпеливый любовник. Ему ужасно льстило, что мисс Уилкинсон в него влюблена: она объяснилась ему в этом и по-английски, и по-французски. Она изливалась в комплиментах. Никто еще не говорил ему до нее, что у него прелестные глаза и чувственный рот. Его никогда особенно не интересовало, какая у него внешность, но теперь он при каждом удобном случае с удовлетворением разглядывал себя в зеркале. Когда он ее целовал, было так восхитительно ощущать ответный порыв страсти. А целовал он ее то и дело: это было легче, чем произносить те слова, которых, как подсказывала ему интуиция, она от него ждала. Он все еще чувствовал себя глупо, когда ему приходилось говорить, что он от нее без ума. Он жалел, что не было никого, перед кем он мог бы немножко похвастаться, рассказать подробности. Иногда она говорила загадочные вещи, которые ставили его в тупик. Будь здесь Хейуорд, он спросил бы у него, что она имеет в виду и как ему поступать дальше. Он никак не мог решить, следует ли ему форсировать события или дать им развиваться своим чередом. До отъезда оставалось всего три недели.

– Я и подумать об этом боюсь, – сказала она. – У меня просто разрывается сердце. А вдруг мы больше никогда не увидимся?

– Если бы вы меня хоть капельку любили, вы были бы добрее, – шепнул он.

– Ах, что тебе нужно еще? Все мужчины одинаковы. Им всегда мало.

А когда он становился требовательным, она говорила ему:

– Разве ты не видишь, что это невозможно? Здесь это совершенно немыслимо.

У него рождались разные планы, но она их отвергала один за другим.

– Я боюсь. Какой будет ужас, если тетя узнает.

Наконец у него мелькнула блестящая мысль:

– Послушайте, в воскресенье вечером вы скажете, что у вас разболелась голова и вы побудете дома. Тогда тетя Луиза пойдет в церковь.

По вечерам в воскресенье Мэри-Энн ходила в церковь, и тете Луизе приходилось оставаться дома, но она с удовольствием воспользовалась бы возможностью послушать вечерню.

Филип не счел нужным оповестить своих близких о той перемене, которая произошла в его взглядах на религию, все равно они бы его не поняли; спокойнее было по-прежнему

ходить в церковь как ни в чем не бывало. Но он ходил туда только по утрам, считая это уступкой общественным предрассудкам, а свой отказ от вечернего посещения церкви – достойным проявлением свободомыслия.

Выслушав его предложение, мисс Уилкинсон секунду помедлила, но потом покачала головой.

– Нет, не могу, – ответила она.

Однако в воскресенье за чаем она удивила Филипа.

– Я не пойду в церковь вечером, – вдруг объявила она. – У меня страшно болит голова.

Миссис Кэри очень встревожилась и дала ей какие-то капли, которые сама принимала в подобных случаях. Мисс Уилкинсон поблагодарила и сразу же после чая сказала, что пойдет к себе и ляжет.

– Вы уверены, что вам ничего не понадобится? – спросила миссис Кэри.

– Совершенно уверена, спасибо.

– Тогда я, пожалуй, схожу в церковь. Мне не часто удается бывать там по вечерам.

– Конечно, идите.

– Я буду дома, – сказал Филип. – Если мисс Уилкинсон что-нибудь понадобится, она всегда сможет меня позвать.

– Тогда оставь дверь в гостиную открытой – если мисс Уилкинсон позвонит, ты услышишь.

– Хорошо, – сказал Филип.

Итак, в шесть часов вечера Филип остался в доме наедине с мисс Уилкинсон. Он чуть не заболел от страха и жалел, что затеял всю эту историю, но было уже поздно: теперь ему придется действовать – ведь он сам развязал себе руки. Что подумает о нем мисс Уилкинсон, если он сбежит в последнюю минуту? Он пробрался в переднюю и прислушался. Сверху не доносилось ни звука. Он даже подумал, не разболелась ли у мисс Уилкинсон голова на самом деле. Может быть, она все забыла? Сердце его замирало. Он стал тихонько подниматься по лестнице, испуганно останавливаясь всякий раз, когда скрипела ступенька. Подойдя к комнате мисс Уилкинсон, он остановился и прислушался снова; пальцы его прикоснулись к дверной ручке. Он помешкал. Ему показалось, что он простоял в нерешительности не меньше пяти минут; рука его дрожала. Охотнее всего он бы удрал, если бы не боялся, что потом его замучат угрызения совести. Он словно готовился к прыжку в воду с самой высокой вышки купальни; снизу эта вышка выглядит совсем не страшной, но стоит взобраться наверх и посмотреть вниз на воду, как душа уходит в пятки; единственное, что может заставить вас прыгнуть, – это стыд: стыдно робко спускаться по тем же ступенькам, по которым только что гордо взбирался вверх. Филип собрал все свое мужество. Он тихонько повернул дверную ручку и переступил порог. Ему казалось, что он дрожит, как лист.

Мисс Уилкинсон стояла у туалета, спиной к Филипу, и поспешно обернулась, когда услышала, как отворилась дверь.

– Ах, это ты? Чего тебе надо?

Она сняла юбку и блузку и стояла в одном белье. Нижняя юбка была короткая, едва доходила до икр, сверху черная, из какой-то блестящей материи, с красной оборкой внизу. Белая коленкоровая рубашка оставляла руки обнаженными. Вид у нее был самый нелепый. Филип глядел на нее, похолодев от испуга; никогда еще она не казалась ему такой безобразной. Но делать было нечего. Он закрыл за собой дверь и запер ее на ключ.

Глава 35

Наутро Филип проснулся чуть свет. Спал он беспокойно, но, потянувшись в постели и взглянув на солнечные лучи, которые, пробиваясь сквозь жалюзи, чертили на полу веселые узоры, он удовлетворенно вздохнул. Филип был очень доволен собой. Он подумал о мисс Уилкинсон. Она просила, чтобы он звал ее Эмили, но он почему-то не мог; для него она всегда была мисс Уилкинсон. Она бранила его за то, что он ее так зовет, и Филип вообще перестал называть ее как бы то ни было. В детстве он часто слышал рассказы о тете Эмили – одной из сестер тетушки Луизы, вдове морского офицера. Ему было как-то неловко называть так мисс Уилкинсон, но он не мог придумать какое-нибудь более подходящее имя. С самого начала она была для него мисс Уилкинсон, – это было безраздельно связано со всеми его представлениями о ней. Он нахмурился: почему-то она виделась ему сейчас в самом непривлекательном свете; он не мог забыть своей растерянности, когда она предстала перед ним в рубашке и нижней юбке; он вспомнил ее шершавую кожу и глубокие морщины на шее под ухом. Чувство торжества пропало. Он снова принялся высчитывать, сколько ей лет; получалось, что ей было никак не меньше сорока. Это делало его интрижку просто комичной. Она была некрасива и стара. Его живое воображение тут же нарисовало ее портрет – в морщинах, с дряблыми щеками, накрашенную, в чересчур кричащих платьях, которые были ей не по возрасту. Он содрогнулся; внезапно ему захотелось никогда больше ее не видеть; самая мысль о ее поцелуях стала ему отвратительна. Он сам себе был противен. Неужели это и есть любовь?

Он одевался как можно медленнее, чтобы оттянуть минуту их встречи, и с тяжелым сердцем спустился в столовую. Молитва была прочитана, и все уже сидели за столом.

– Ну и соня! – весело закричала мисс Уилкинсон.

Он посмотрел на нее и вздохнул с облегчением. Она сидела спиной к окну. Право же, она совсем недурна. И что это ему только в голову взбрело? К нему вернулось прежнее самодовольство.

Филипа поразила перемена, происшедшая с мисс Уилкинсон. Тут же после завтрака она сообщила ему дрожащим от волнения голосом, что любит его, а когда чуть позже они ушли в гостиную, где она занималась с ним пением, мисс Уилкинсон, сидя на табурете перед пианино, вдруг посреди гаммы подняла к нему лицо и сказала:

– Embrasse-moi[34].

Он наклонился, и она обвила руками его шею. В такой позе ему было не очень удобно – он даже стал задыхаться.

– Ah, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime[35], – повторяла она, утрируя французское произношение.

Филип предпочел бы, чтобы она говорила по-английски.

– Послушай, – сказал он, – ты же знаешь, каждую минуту мимо окна может пройти садовник.

– Ah, je m'en fiche du jardinier. Je m'en refiche et je m'en contrefiche[36].

Филип подумал, что все это слишком похоже на французский роман, и, неизвестно почему, разозлился.

Наконец он сказал:

– Ну, я, пожалуй, сбегаю на пляж, окунусь разок-другой.

---

[34] Поцелуй меня (*фр.*).

[35] Ах, я люблю тебя. Люблю тебя. Люблю тебя (*фр.*).

[36] Наплевать мне на садовника. Наплевать с высокого дерева (*фр.*).

– Неужели ты хочешь оставить меня одну в это утро… в это незабываемое утро?

Филип не понимал, почему ему нельзя пойти выкупаться, но в общем это было не так уж важно.

– Хочешь, я останусь? – улыбнулся он.

– Ах, милый ты мой. Нет, нет, ступай. Ступай. Я буду думать о том, как ты борешься с бурными волнами, как твои руки рассекают воды морские.

Он взял шляпу и пошел на пляж. «Что за чушь порют эти женщины!» – подумал он про себя.

Но он был доволен, весел и очень горд. Она явно влюблена в него по уши. Он шел, припадая на хромую ногу, по главной улице Блэкстебла и чуть-чуть свысока поглядывал на прохожих. Со многими из них он раскланивался и, улыбаясь им, думал: если бы вы только знали! Ему до смерти хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной. Он решил написать Хейуорду и принялся сочинять в уме письмо. Он опишет и сад, и розы, и среди них – маленькую французскую гувернантку, такую надушенную и порочную, как экзотический цветок; он скажет, что она француженка – в конце концов, мисс Уилкинсон так долго жила во Франции, что почти совсем превратилась в француженку, да и было бы непорядочно ее выдавать; он расскажет Хейуорду, как увидел ее первый раз в изящном муслиновом платье и как она подарила ему цветок. Он сочинил прелестную идиллию: солнце и море вдохнули в нее страсть и очарование, а звезды – поэзию; старый сад при доме священника служил ей достойным фоном.

В его сочинении чувствовалось влияние Мередита; героиня была не совсем похожа на Люси Феверел и на Клару Миддлтон, но все равно очаровательна. Филип был приятно возбужден. Его так захватила собственная фантазия, что он снова отдался ей, как только вылез из воды и мокрый и озябший вернулся в купальную кабину. Он живо представил себе предмет своего увлечения. У нее огромные карие глаза, и очаровательный носик (он непременно опишет ее Хейуорду!), и целая копна шелковистых каштановых волос – как чудесно погружать в них лицо; ее кожа, матовая, как слоновая кость, словно позолочена солнцем, а щеки – совсем как алые розы. Сколько ей лет? Наверно, восемнадцать, и зовут ее Мюзетта. Смех ее похож на журчащий ручеек, а голос – нежный и глубокий – сладчайшая музыка, какую он когда-либо слышал.

– О чем ты так задумался?

Филип остановился как вкопанный. Он медленно шел домой.

– Я машу тебе рукой уже бог знает сколько времени. Ну и рассеянный же ты.

Перед ним стояла мисс Уилкинсон, она смеялась над его озадаченным видом.

– Я решила пойти тебе навстречу.

– Очень мило с твоей стороны, – произнес он.

– Я тебя напугала?

– Немножко, – признался Филип.

И все-таки письмо Хейуорду было отослано. Целых восемь страниц.

Последние две недели промелькнули незаметно, и, хотя каждый вечер, когда они после ужина гуляли по саду, мисс Уилкинсон замечала, что вот прошел еще один день, радужное настроение Филипа от этого нисколько не портилось. Как-то вечером мисс Уилкинсон намекнула, что было бы чудесно переменить службу и переехать в Лондон. Тогда они могли бы встречаться постоянно. Филип сказал, что это и в самом деле было бы замечательно, но идея мисс Уилкинсон не вызвала в нем никакого восторга: он предвкушал прелести лондонской жизни и предпочитал, чтобы ничто его не связывало. Он чересчур уж откровенно заговорил о своих планах, и мисс Уилкинсон почувствовала, что он ждет не дождется отъезда.

– Ты бы не стал так говорить, если бы любил меня! – воскликнула она.

Застигнутый врасплох, он промолчал.

– Ну и дура же я была, – пробормотала она сквозь зубы.

К своему удивлению, он заметил у нее на глазах слезы.

Филип был человек мягкосердечный и не мог видеть человеческого горя.

– Прости, пожалуйста, – сказал он. – Ну что я такого сделал? Не плачь.

– Ах, Филип, не бросай меня. Ты себе не представляешь, что ты для меня значишь. У меня так неудачно сложилась жизнь, а ты принес мне столько радости…

Он молча ее поцеловал. В ее голосе звучало подлинное страдание, и он испугался. До сих пор ему и в голову не приходило, что она всерьез думает все, что говорит.

– Прости меня. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Я бы очень хотел, чтобы ты переехала в Лондон!

– Но разве я смогу? Место найти почти невозможно, да и жить в Англии так противно.

Тронутый ее горем и едва ли сознавая, что разыгрывает роль, он продолжал ее упрашивать. Ему льстили ее слезы, и он целовал ее с подлинным жаром.

Но через день она закатила ему настоящую сцену. У них снова собралась компания поиграть в теннис; пришли две девушки, дочки отставного майора индийской службы, поселившегося не так давно в Блэкстебле. Обе были прехорошенькие, одна из них – сверстница Филипа, другая – года на два моложе. Привыкшие к обществу молодых людей, они без конца болтали о светской жизни в горных гарнизонах Индии (а в то время поголовно все зачитывались рассказами Редьярда Киплинга) и шутливо поддразнивали Филипа. Ему это было внове – молодые дамы Блэкстебла обычно боялись прослыть легкомысленными перед племянником священника. Ему стало очень весело, в нем словно проснулся какой-то бесенок и заставил его затеять отчаянный флирт с обеими девушками сразу, а, так как он был единственным кавалером, они охотно кокетничали с ним напропалую. К тому же они довольно хорошо играли в теннис, а Филипу надоело перебрасываться мячами с мисс Уилкинсон (она начала играть только тут, в Блэкстебле); после чая он предложил, чтобы мисс Уилкинсон сыграла с помощником священника против его жены, а затем он сыграет партию с девушками. Филип подсел к старшей мисс О'Коннор и сказал вполголоса:

– Избавимся от мазил, а потом сыграем настоящую партию.

Мисс Уилкинсон, видно, это услышала: она бросила ракетку и ушла, сославшись на головную боль. Все поняли, что она обиделась. Филип рассердился, что она не потрудилась скрыть свою досаду от других. Партия началась без нее, но вскоре появилась миссис Кэри и отозвала Филипа в сторону.

– Ты обидел Эмили, – сказала тетя Луиза. – Она ушла в свою комнату и плачет.

– Почему?

– Ты что-то сказал насчет мазил. Сходи к ней и объясни, что не хотел ее обидеть, будь хорошим мальчиком.

– Ладно.

Он постучался в дверь ее комнаты и, не услышав ответа, вошел. Мисс Уилкинсон лежала ничком на постели и плакала. Он дотронулся до ее плеча.

– Послушай, что случилось?

– Оставь меня в покое. Я не желаю с тобой разговаривать.

– Что я сделал? Прости, пожалуйста, если я тебя обидел. Я, право же, не хотел. Ну пойдем.

– Ах, какая я несчастная! А ты ужасно бессердечный. Ты же знаешь, что я терпеть не могу эту дурацкую игру. Я играю в нее только для того, чтобы побыть с тобой.

Она поднялась и подошла к туалету, но, взглянув на себя в зеркало, опустилась на стул. Скомкав носовой платок, она приложила его к глазам.

– Я дала тебе все, что может дать женщина… Ну и дура… А тебе хоть бы что. У тебя такое черствое сердце. Мучаешь меня, флиртуя с первыми попавшимися девчонками. У нас

и так осталась одна-единственная неделя. Неужели ты не можешь потерпеть и побыть со мной?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.